

Рс

В43

Т 580470

Сергей  
ВМКУЛОВ

*Стихи мои о деревне,  
и радость моя и боль!*

Сергей Викулов



ВОЛОГДА 1967

Гравюры на дереве  
Г. и Н. БУРМАГИНЫХ

Сергей  
ВИКУЛОВ



ИЗБРАННОЕ

P 2

B 13



СТИХИ



стихи мои о деревне,  
и радость моя и боль!  
Кто зову земли не внемлет,  
едва ль вас возьмет с собой  
в дорогу —

развеять дрему...

Глухому к земле, ему  
стихи про Фому-Ерему,  
сермяжные, ни к чему.  
Томов со стихами — груда.  
А в тех, говорят, томах  
что ни страница — чудо,  
что ни куплет, то — ах!  
Новаторские, блестящие,  
строка о строку звенят.  
А вы, мои работающие,  
в пыли с головы до пят.  
Не очень-то вы нарядны  
и — где уж там — не модны,  
вы будничны, не парадны —  
и все-таки вы нужны,

я верю, тому, кто в поле  
упрямо растит зерно,  
чьи с коих-то пор мозоли  
в стихах поминать грешно...  
Старо и неблагозвучно!  
Да полноте, остряки!  
А ваши-то белы ручки  
не потому ль мягки,  
что эти не в меру каменны?!  
Не руки, а жернова!  
В мозолях все, как в окалине...  
Нужны ли еще слова!  
Добры, горячи по-русски  
и грубы на первый взгляд,  
корявые эти руки,  
красивые эти руки  
и впрямь чудеса творят!  
Держите ж голову гордо,  
стихи мои! Мы и впредь  
о них, не жалея горла,  
пусть хрипло, но будем петь!



Оглядываюсь с гордостью назад:  
прекрасно родовое древо наше!  
Кто прадед мой? — Солдат и землепашец.  
Кто дед мой? — Землепашец и солдат.  
Солдат и землепашец мой отец.  
И сам я был солдатом, наконец.

Прямая жизнь у родичей моих.  
Мужчины — те в руках своих держали  
то плуг, то меч... А бабы — жены их —  
солдат земле да пахарей рожали.

Ни генералов нету, ни вельмож  
в моем роду. Какие там вельможи...  
Мой прадед, так сказать, не вышел рожей,  
а дед точь-в-точь был на него похож.

И все ж я горд, — свидетельствую сам! —  
что довожусь тому сословью сыном,  
которое в истории России  
не значится совсем по именам.

Не значится... Но коль неволю  
терпеть ему обиды становилось,  
о, как дрожать вельможам доводилось  
шаги его расслышав за версту!

Ничем себя возвысить не хочу.  
Я только ветвь на дереве могучем.  
Шумит оно, когда клубятся тучи, —  
и я шумлю... Молчит — и я молчу.

## ЖИВУ НА ЗЕМЛЕ

Как пращур камушки,  
Ракеты  
Швыряет в небо человек.  
Какая тема для поэта!  
Двадцатый век — великий век!  
И мы не то, чтоб перестали  
Дивиться, но при всем при том,  
Как о событии простом,  
Мы говорим: «В Луну попали»,  
Привычно в небо ткнув перстом.

И все-таки — великолепно!  
Того и жди, что через год  
Еще в одну планету влепит  
Железным камушком народ.  
Народ не чей-нибудь — тот самый,  
Какому я принадлежу.  
Так что ж я все-таки, упрямый,  
Не в небо — на землю гляжу?  
Печалюсь, если где-то что-то  
Еще не так, как быть должно,

Тут не осушено болото,  
Здесь осыпается зерно.  
А там, за Тотьмой, бездорожье  
Такое же, как в старину...  
Да, это мелко и ничтожно  
Пред попаданием в Луну.  
Да, мало чести петь про это,  
Когда над сказкой верх взяла  
Мир изумившая ракета.  
И я встаю из-за стола,  
На перевернутой странице  
Не написавши ни строки...  
Весна на улице. Дымится,  
Оттаяв, матушка-землица.  
Возле правленья мужики  
Сидят, районную газету  
И табачок пустив на круг,  
И тоже что-то про ракету  
И фантазируют, и врут.  
Каков, гадают над вопросом,  
У марсианок внешний вид.  
Но бригадир, окурочив,  
Встает и вот что говорит:  
— Довольно, кажется. Пора нам  
Идти, пожалуй, отдыхать.  
Луна — Луной, а завтра рано  
Нам Землю все-таки пахать. —  
И улочкою колеистой  
Идет домой. И я иду.  
Волнуясь, о странице чистой  
припоминаю на ходу.  
Иду, ощупывая взглядом  
Тропинку. Начало темнеть.  
Я на земле живу. И надо  
Мне все же под ноги глядеть!

## ДОСКА ПОЧЕТА

В комнате, где косточки на счетах  
целый день ведут веселый бой,  
на стене висит Доска почета,  
почему-то в рамке голубой.  
А на ней, достойны преклоненья,  
женщины. Четыре поколенья!  
На груди — то брошка, то медаль,  
то и ничего... А на коленях —  
руки — не последняя деталь!

Не в сиянье нимбов божьи лики —  
смотрят на меня еще с Доски  
всемогущи и велики  
более чем боги — мужики!

Смотрит на меня сама Работа.  
Светлая — к чему ей позолота!  
Гордая — ее я понимаю,  
разбитная — все ей по плечу!  
Вот она какая... Я снимаю  
перед нею шапку. И молчу.

## ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

На саму себя тюки  
громовые вьюча,  
на луга из-за реки  
накатилась туча.  
И пошла — быть-не-быть! —  
как из пулемета  
поливать нас, бомбить  
с птичьего полета.

Ну, а мы ей: — Дуй!  
Поддавай жару!  
Нам такой сабантуй  
по душе, пожалуй.  
Ведь без ливней да гроз,  
без тревог, без пота,  
сенокос — не сенокос,  
черная работа.

По морям, по волнам  
мы бредем босые.

Ой, не крикнуть ли нам  
да на всю Россию:  
— Дождик, дождик, пуще,  
чтобы травка гуще,  
чтобы выше лен, чтобы  
хороводами грибы,  
ягоды кистями —  
собирай горстями!

Дождь, дождь, припусти,  
ваше благородье,  
чтоб успело подрасти  
все, что в огороде.  
Чтобы встали под горой,  
крякнув: «Все в порядке!»,  
новобранцами в строй  
кочаны на грядке.

Расплеснись по полосам,  
поднеси напиток  
пострадавшим овсам,  
ячменям, пшеницам.  
Заряди на три часа,  
чтоб не было мало,  
чтоб не только — по усам,  
чтобы в рот попало!

Дождик лей, лей, лей  
на меня и на людей!  
Что касается меня, —  
лей, товарищ, хоть полдня,  
я не поперечу.  
Я рубашку скину:  
полощи мне плечи,  
полощи мне спину.

Наклонюсь: — Вот добро!  
Ну, еще кружку!  
Ну, еще одно ведро!  
Ну, еще кадушку!  
Не скупись, брат! Уважь!  
Я ж таскал копы...

И вошел дождик в раж,  
и в сто ног топнул  
на моей на спине.  
Брызги из-под пяток!  
Ох и весело мне  
под дождем, ребята!



## РАЗГОВОР С ПОПУТЧИКОМ

*Е. Макаровскому*

Край наш — это верно, брат, —  
виноградом не богат.  
И земля у нас сырая,  
и болота широки.  
Но на свете лучше края  
нет, считают земляки.

— Хорошо у нас в краю, —  
сами шутят, — как в раю!  
Клюквы, луку да рябины  
отродясь не переешь.  
А брусники, а малины  
в нашем крае сколько есть?!

Веряя от ворот —  
вот какой у нас народ!  
Плечи в сажень, грудь горою, —  
пальца в рот им не клади.  
На работе землю роют!  
Был — так видывал, поди.

Ваших, коль молва не врет,  
на работе дрожь берет.  
А у наших пышут лица  
от жары — не похвальба, —  
наши в стужу рукавицей  
утирают пот со лба.

Рубят, брат, не байки бают.  
Но зато и за столом  
щи да кашу подметают  
ложкой, словно помелом!

А когда за самовары  
сядут (солono солят!),  
пьют, покуда клубы пара  
из сапог не повалят.

Сахар сеть — внакладку пьют,  
вышел весь — вприглядку пьют,  
пьют с малиной, пьют охотно  
с клюквой — ягодой болотной,  
потому как виноград  
здесь не зреет. Верно, брат!

Но ведь мы вперед глядим,  
сложив руки не сидим.  
Кое-где и в нашем крае  
по весне цветут сады...

А короче — хватит хаять  
край наш: не было б беды.

## НА ЛУГУ

Как хорошо остановить машину,  
распрячь коней — пора и отдохнуть, —  
присесть под куст и к горлышку кувшина  
губами пересохшими прильнуть.

Напиться всласть — а квас и злой и крепкий! —  
и добрым словом помянуть жену.  
Потом прилечь, надвинув на лоб кепку,  
и долго-долго слушать тишину.

А тишина, как марево, густая.  
Стучат в траве кузнечики. И ты  
средишь с улыбкой, как шмели летая,  
считают уцелевшие цветы.

Здесь столько ими собрано нектара!  
И хочется участливо сказать:  
«Спешите же, осталось два гектара.  
Вот отдохну — и буду запрягать!»

## БАНИ ТОПЯТСЯ

Как под праздник, разом все  
в огородах бани топятся.  
Мужики домой торопятся:  
наконец-то кончен сев!

Не грешно после страды  
и попариться маленечко...  
— А готовы ль, женки, венички?  
А nanoшено ль воды?  
Нам бы в баньку прямиком!  
Десять дён, а может, более  
умывались потом в поле мы,  
утирались ветерком.

Пышут жаром у реки  
бани. Веники окачены.  
И штаны, в земле испачканы,  
скидывают мужики.  
И, нырнув в жару, рычат,  
чешут спины просоленные...

Как взрывчаткой начиненные,  
камни в каменках трещат.  
Ковш, еще два ковша  
с ходу опрокинуты.  
Веники вскинуты:  
— Оттаивай, душа!  
Ух, как хорошо!  
На полке устроился  
и пошел, и пошел —  
выше, ниже пояса...

А пар клубится  
вокруг мужика:  
— Подайте рукавицу,  
не терпит рука!

Но буйствует веник,  
но веник сечет:  
вставай на колени,  
сдавайся, черт!  
И жжет и кусает  
и грудь, и бока,  
и на пол бросает  
с полка мужика!

Ништо, отлежится.  
Откройте-ка дверь.  
Ему еще мыться,  
тереться теперь.  
Мазутные пятна  
с мозолистых рук  
и в бане, понятно,  
отмоешь не вдруг.

Пышут жаром у реки  
бани. Мыло в шайках пенится.

Спины трут себе, не ленятся,  
трактористы в две руки.  
Поперек и вдоль сто раз!  
По домам идут, как новые.  
Там их ждут—давно готовые —  
самовары на столах.

## МАТЬ И ДОЧЬ

Прибежала с работы  
в избу, как на пожар.  
Пить до смерти охота,  
надо греть самовар.  
Только бабе Алене  
не до чаю пока:  
под окошком теленок  
клянчит: «Да-ай молока!»  
Во дворе у калитки  
коровенка мычит,  
в стайке, как недобитый,  
поросенок кричит,  
эвцы где-то пропали,  
а на улице ночь...

Злитя: пальцем о палец  
не ударила дочь!  
Кличет: — Зойка! Зоюшка! —  
распахнувши окно.  
А Зоюшка с подружкой  
убежала в кино.

Ни к чему-то у девки  
душа не лежит.  
Как слышит припевки,  
бросит все, убежит.  
Да подальше от дому  
норовит: «Веселей!»  
Горе с дочкой: чужому  
порадеет скорей.  
Обругаешь — упрямо  
отвечает одно:  
— Жить по-вашему, мама,  
в наше время смешно!  
Глянь, что пишут в газетах:  
к коммунизму идем!  
Вам же — только и света  
что в хозяйстве своем.  
Вам кусок бы поболее  
да покрепче запор...

Ох, обиден до боли  
бабе этот укор.  
Потому-то Алена  
каждый раз и ворчит...

Все еще не доёна  
коровенка мычит.  
Подхватила подойник —  
и во двор... В кулаки  
зажимая ладони,  
потянула соски:  
вжик! — Да стой же ты, дура!  
Тихо, мирно кругом.  
Но Аленина дума  
о другом, о другом.  
Сена нет для коровы.



Сердце вот как болит!  
— До чего ж неваровый! —  
бригадира бранит. —  
Что бы дать хоть немножко  
покосить! Ни стожка,  
ни единой копешки  
за душой ведь пока.  
Зиму долгую снова  
пробивайся как хошь...  
Не вести же корову  
в самом деле под нож!

Репродуктор рокочет  
в доме. В клубе кино  
началось уже... Впрочем,  
ей не все ли равно...

## КОГДА ЖЕНИТСЯ ДРУГ

Я ночь пахал и день пахал,  
и вновь рычаг верчу.  
Я, черт возьми, не отдыхал  
и очень спать хочу.  
Я знаю, что такое труд.  
Но я не знал, ей-ей,  
что веки могут весить с пуд,  
а то и тяжелей.

Мотор гудит. Башка гудит.  
Сильней гудит башка.  
Ругаю на чем свет стоит  
я своего дружка  
за то, что нет глотка воды,  
а жажда сушит рот,  
за то, что он в разгар страды  
жениться вздумал, черт!  
Да, да, жениться! Есть одна  
в селе девчонка-звон.  
Не знаю я, в уме ль она,  
но ясно — спятил он.

Еще все дело впереди,  
еще пахать, пахать...  
Но я ему сказал: — Иди!  
И перестань вздыхать!

Вторая ночь. Второго рассвет  
спешит по полосам.  
И мнится мне, а может, нет,  
что я железный сам.  
Во мне взрывается бензин,  
и бодрствуют во мне  
полсотни лошадиных сил,  
рожденные в огне.  
Иду, дымя и грохоча.  
Туман в глаза течет...  
А он, наверное, сейчас  
ее целует, черт.  
Прилип — водою не разлить,  
сошелся клином свет.  
Эй, перестань меня дразнить!  
Ты слышишь или нет?  
И я не прочь свою обнять,  
я обещался ей.  
Но не привязывать же стать  
полсотни лошадей,  
когда земля поспела вся  
и сеятеля ждет...  
Заря, как рыжая лиса,  
из-за лесов ползет.  
Ползет... А сон свое берет.  
Темно в глазах моих...

Но кой там дьявол рот дерет?  
А, это ты... жених!

## И МОЯ ЗАСЛУГА!

Позволь отдать тебе поклон,  
великое Светило,  
за то, что в этот год теплом  
ты нас не обделило!

Гляжу, идя вдоль полосы,  
с каким усердьем в час росы  
твои лучи-пройдохи  
пшеницу тянут за усы  
и за уши горохи...

Да и в саду с тобой в ладу  
дела идут блестяще.  
Наредкость в нынешнем году  
ты, солнце, работаешь!

И в том, что нива не пуста,  
что небывало рожь густа  
и тянет медом с луга,  
твоя, конечно, доброта,  
но... и моя заслуга!

Ого, вставал я сколько раз,  
когда еще ты спало,  
пахал уже, когда ты глаз  
еще не открывало!

И в час, когда ты на покой,  
успав, за лес валилось,  
во всю еще я за рекой  
работал, ваша милость!

И как работал! Неспроста  
в полях такая красота.  
И за красу такую  
дай, брат, в горячие уста  
тебя я поцелую!

## ПО ЯГОДЫ

О, этот праздник бабьего набега  
За клюквой на болото Журавли!  
Корзины грудой сложат на телегу,  
Мешки в корзины бросят — и пошли!  
Длинна-длинна дорога до болота,  
Да не скучна... Идут у колеса  
И языками будто бы молотят,  
Пересыпая смехом голоса.  
И столько тут отчаянных да храбрых,  
Готовых правду резать напрямки:  
Мол, что ж мы смотрим, что ж мы терпим, бабы,  
Опять всю власть забрали мужики!  
Мы с вилами — они с карандашами,  
Мы с ведрами — с кисетами они...  
Да что ж мы, бабы, хлопаем ушами,  
Не бережем, не ценим трудодни?  
Все мы да мы, какая ни работа.  
Пора приструнить крепко мужика!  
Нет, не длинна дорога до болота,  
А с разговором даже коротка.  
И вот уже разобраны корзины,  
Подоткнуты подолы высоко,

И зубчатая, в елочку, резина  
Уже следы печатает легко  
На мху, где клюква, словно на подушках,  
Лежит, как буби-kozyри, красна.  
И оставляют женщины друг дружку,  
И сразу наступает тишина.  
Широко разбегаются в расчете  
Скорей — гляди, чтоб кто не перебил! —  
Найти такое место на болоте,  
Где ягод — хоть лопатою гребли  
Не жадность подгоняет: знают твердо,  
Что хватит ягод всем в болоте, но  
Отстать от прочих собственная гордость  
Не позволяет!  
Сыплются на дно,  
Подпрыгивая, мокрые рублины...  
Но дрогнут руки вдруг в минуту ту,  
Когда глухарь чуть не из-под корзины  
Взлетит, испуган, с ягодой во рту.  
— Фу, дурень экой! — провожая взглядом  
Шальную птицу, женщина вздохнет.  
И вновь берет. И вот уж полон ягод  
Мешок. И кто-то голос подает.  
— Ау, ау! — из глубины болота  
доносится. — Ау! — звенит в лесу.  
— Пошли домой-ой! — зовет чуть слышно кто-то.  
А кто-то ближе: — Ой, не донесу.  
Ой, родненькие, лопнет поясница...  
— Убавь, — кричат, — коль ноша велика!  
А на дороге старичок-возница  
Уже в оглобли ставит меринка.  
И, глядя, как с мешками на дорогу,  
Шумя, выходят женщины, ворчит:  
— Ой, бабы, бабы... Глупые, ей-богу!  
Набрали — мужику не утащить!

## ПЕРЕД ДОРОГОЙ

— Уезжаешь? — Уезжаю.  
— Тесно, что ль, в родном дому?  
Хоть убей — не понимаю,  
уезжаешь почему.

Злясь, четвертую сигарку  
бригадир свирепо жег,  
уговаривал доярку,  
отговаривал, как мог.

— Без стыда ты, Анка! Разве  
я тебя не уважал?  
Или заработок мал?  
Или не в чем выйти в праздник?  
Иль в душе запал пропал?  
Уезжать  
в такое время!  
Все невзгоды позади...  
Ты сама-то посуди:  
получила десять премий,  
двадцать, может, впереди!



Повернулась к бригадиру,  
чемодан толкнув ногой;  
— Ты меня не агитируй,  
бесполезно, дорогой!

По избе как ветер дунул —  
шаль рванула со стены:  
— Понимаешь?.. Зря ты думал:  
мне не премии нужны.  
Не наряды... Что в них толку?  
Перед кем, позволь спросить,  
этим штапелем да шелком,  
уважаемый, форсится?

Коль в деревне, не соврать бы,  
нет гармонии ни одной,  
коли праздники и свадьбы  
нас обходят стороной?  
Клуб у черта за болотом,  
нет отрады никакой...  
Надоела не работа —  
скука! Понял, дорогой?  
Да притом, я не старуха  
и как будто не урод,  
чтоб остаться вековой  
из-за премий ваших, вот!

Бригадиру даже жарко  
стало Пятую сигарку  
завернул и прикурил.  
И не глядя на доярку:  
— Ты права... — проговорил. —  
Ты права. И все ж рискованно  
поступаешь. Посуди:  
женихи-то дома скоро  
будут... Слышала, поди?

Свадьбу справим, да такую,  
что одна на белый свет!  
— Вот тогда и потолкуем.  
А сейчас охоты нет.  
Встала возле чемодана.  
— До свидания... — И вдруг  
опустилась. Зарыдала.  
Бригадир вздохнул устало,  
смял сигарку о каблук.

## ДЕРЕВЕНСКОЕ СОБРАНИЕ

Деревенское собрание  
(деревенское — заметь!)  
я люблю, скажу заране.  
Я готов на нем сидеть,  
коль случится, до полночи,  
не вставая, как в кино.  
Да и то: оно короче  
не бывает все равно.  
Коли добрая погода,  
полусонные с тоски,  
на собрание приходят  
первым делом старики.  
На порог садятся, на пол —  
до собрания битый час, —  
молча скручивают в лапах  
чуть не сто сигарок враз.  
Курят мирно Ожидают  
баб: нельзя теперь без баб!  
Ну, а тем напиток чаю  
прежде надобно хотя б,  
сделать кое-что по дому,

коровенок подоить.  
Кто их в этом деле, вдовых,  
к слову, может заменить?!  
Наконец, приходят. В кофтах,  
сшитых с милой простотой,  
не обижены ни ростом,  
ни, конечно, широтой.  
И садятся: Марья с Настей,  
рядом, ладом — дочь и мать.  
И верховный орган власти  
начинает заседать.  
Ух, собрание! Негде плюнуть,  
негде яблоку упасть!  
Но коль вздумать да подумать —  
потому оно и власть!  
Тут речей не произносят,  
тут, коль надо, говорят.  
Тут за правду — кровь из носа,  
тут в беде — за брата брат!  
Как навалятся все вместе,  
как поглаживать начнут  
против шерсти, против шерсти —  
взмокнешь весь за пять минут!  
Что ни худо, где ни слабо —  
виноваты мужики.  
Ох и бабы, ну и бабы —  
жа́ла, а не языки!  
Председатель стукнет, брякнет,  
по графину, по столу:  
мол, давайте по порядку,  
мол, потише там, в углу!  
Смолкнут резко «автоматы».  
— Кто желает? — Тишина.  
Смысла нет: у виноватых  
без того горит спина...

# ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, ДАЙ ОТВЕТ!

(Песня)

Всем известно:  
в нашем поле испокон  
повсеместно  
хорошо родился лен.  
А теперь же  
в нашем полюшке трава —  
лен и реже  
лен и ниже раза в два.

Уж три года  
нет дохода ото льна,  
нет дохода,  
а в правленьи тишина.  
Неужели,  
неужели мужики  
в самом деле  
проглотили языки?!

Будто в клетки  
заперлись — и ни гу-гу...  
Эй, соседки,

собирайтесь на лугу!  
Наболело  
на душе — терпенья нет!  
В чем же дело?  
Председатель, дай ответ.  
Или хуже  
понимать мы стали лен?  
Иль не нужен  
для колхоза миллион?  
Долго ль будем  
робко пятиться назад?  
Разве люди  
жить богаче не хотят?

Для того ли  
удостоен ты поста,  
чтобы в поле  
зимовала льнотреста?!  
Будет лучше,  
коль не станешь ты дремать,  
нет, так пуще  
мы начнем критиковать!

## ШЕФЫ ПРИЕХАЛИ

Все! Хозяйственный год  
завершен. Вдохнул народ.  
В воскресенье собрание,  
на повестке дня — отчет.  
Накануне получили  
за три месяца аванс.  
И с утра  
        по той причине,  
протерев глаза, мужчины  
налегали на квас.  
Было муторно, хоть вой...

И вдруг — не потеха ли! —  
на машине грузовой  
шефы приехали.  
Развернули буфет.  
И чего в нем только нет:  
булки, пряники, печенье,  
ворох штучных конфет.  
А еще три бочки пива  
вологодского разлива.

А еще вино «вермут»,  
как его прозвали тут...

Женки млеют в радости,  
покупают сладости.  
Покупают, не скупятся,  
делятся с подружками.  
А мужья в углу толпятся,  
пиво дуют кружками.  
Через час на скамьях  
сонно, блаженно:  
дым-туман в глазах,  
в головах брожение.  
Председатель жуёт  
цифры монотонно  
про удой, про помет  
в килограммах, в тоннах.  
Лыко всякое в строку  
ставит, как может:  
— Отстаем по молоку,  
а по мясу... тоже.

Пьет, потеет: нелегко.  
Вот уж больше часа  
мямлит: мясо, молоко,  
молоко да мясо.  
И ни слова о судьбе  
женщин. Ни полслова!  
Словно сами по себе  
доились коровы.  
Что бы взять да с горы  
поклониться лучшему...  
Или ставились дворы  
по веленью щучьему?!



Нет! Свои молодцы —  
хорошо ли, плохо ли —  
вон какие дворцы  
для коров отгрохали!  
Да, дворцы! Для коров!  
Не жалели топоров,  
хоть и знали — протекают  
крыши собственных дворов.

Но докладчик, как назло,  
погснял числом число.  
Через скуку эту  
баб на сон повело,  
мужиков к буфету.

Хорошо расправить тело,  
выпить кружку про запас.  
Хорошо, что шефы делом  
помогнули в этот раз.

В коридоре шум.  
А в зале  
тишина на зависть.  
Видно, крепко задремали  
те, что там остались.  
И не диво: там — доклад,  
тут — уже дебаты.  
Уверяет свата сват:  
— Председатель виноват,  
мы не виноваты.

А доярки — кто кого,  
не поймешь ничего.  
То ли хвалят, то ли хают  
бригадира своего.

Старики в стороне,  
захмелев, о трудодне  
развернули прения.  
Но их речи, право ж, не  
для стихотворения.  
Бабы им, болтунам:  
— Что вы расшумелись?  
Шли бы лучше по домам  
да на печках грелись.

— Далеко до утра! —  
говорят. Трещит махра.

Ох, добра у шефов будет  
нынче выручка, добра!

## УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

Речушку неглубокую  
перемахнувши вброд,  
забрызганный, под окнами  
взревел и встал, как вкопанный,  
районный вездеход.

Старухи, озабоченно  
взглянув из-под руки,  
сказали: — Полномоченный! —  
ломая языки.

И деды с этим мнением  
согласны были тож...

Вот он вошел в правление,  
повесил макинтош,  
платочком вытер лысину  
и — за рога быка:  
— Я к вам, Иван Анисимыч,  
по части молока!  
Нехорошо, душа моя,  
снижаешь, брат, удои.

А мог бы, это самое...  
Работник молодой.  
Притом в наличие концентрат  
и грубый корм имеется..  
Пойдем-ка, что ль, на фермы, брат,  
посмотрим, что там делается.

Шел, отмечая важные  
просчеты, поглощен  
коровами фуражными,  
телятами еще.  
Заглядывал в безгрешные  
глаза телят: — Ну как?  
Ну как вы тут, сердешные?  
Замерзли, вижу. Факт!

Выспрашивал, выпытывал  
у мокрогобух: — Сыты ли?  
Ласкал их и чесал.  
И с детским умилением  
следил за их поением  
и все писал, писал..  
Что над и под коровами  
имелось, отмечал.  
Доярки с ним здоровались —  
не замечал.  
В минуту подходящую  
ронял, нахмутив бровь,  
слова руководящие  
и принимался вновь  
беседовать с коровами,  
оглядывать быка..

Он был командированным  
«по части молока»!

## КОНЮХ ТАРАС

— Все же вспомнили старика! —  
Крякнул конюх, захлопнув двери.  
На крылечке, ушам не веря,  
развернул документ в руках.  
Буквы в памяти вороша,  
по складам прочитал: — Пу-тев-ка,—  
и, с крылечка нырнув в потемки,  
вдоль деревни направил шаг.

В избу весел вошел и горд.  
Но, раздевшись, сказал степенно:  
— Собери узелок, Елена.  
Еду утречком. На курорт.  
— Печка теплая — хоть сейчас,  
коли вздумалось, можешь ехать.

Бабку аж затрясло от смеха:  
не поверила. А Тарас  
понял это совсем не так:  
— Что же, я? Недостоин, стало?  
Иль еще поработал мало? —

И обрушил на стол кулак.  
И пошел задаваться дед  
перед бабкою — нету сладу.  
— Я ль не выручал бригаду,  
звери-лошади, десять лет?!  
Я ли сбруей не дорожил,  
я ль к коню подходил без ласки?!  
Так ужель от колхозной власти  
я спасибо не заслужил?

А курорт в двадцати верстах  
был всего лишь — подать рукою.  
Бором славился да рекою,  
очень тихою в тех местах.

Дед добрвался туда за час.  
Сунул рубль за проезд в кабину,  
попрощался. И «жизнь-малина»,  
как считал он сам, началась.

Сразу в бане помылся дед.  
Баня жаркой была, признаться.  
Только веника похлестаться  
не нашлось. Да уж нет, так нет.

Возвратился — зовут за стол,  
чай несут, пироги с начинкой.  
А Тарасу бы четвертинку  
или граммов хотя бы сто.  
«Год не пей, — золотой совет, —  
два не пей, но уж после баньки  
для здоровья. не ради пьянки,  
выпей!» — вспомнил при этом дед.  
А хозяевам ни к чему...  
В белых чепчиках да халатах  
отвели старика в палату.

— Отдыхайте, — велят ему.  
Лег. Да где там! Заснуть не мог.  
«Неужели при коммунизме  
вот такая и будет жизнь?» —  
думал, глядя на потолок.  
День прошел. И второй, длинён  
от безделья и даже скучен.  
Монастырской тоской измучен,  
ночью конюх увидел сон,  
будто корма иссяк запас,  
будто сбруя вконец разбита...  
Утром не было аппетита,  
скончательно сник Тарас.  
Сам «культурник» его таскал  
и в кино, и на танцы в клубе.  
Но не шла, хоть убей, на убыль  
сногшибательная тоска.  
Вместо отдыха как-то раз,  
распорядок нарушив строгий,  
не без умыслу, на дорогу  
прогуляться пошел Тарас.  
Было холодно. Сиверок  
дул, и сосны шумели глухо.  
Вспомнил: «Валенки у старухи  
не подшиты. А мог бы, мог».  
И решил: «Передам наказ,  
чтоб сюда прислала с оказьей».  
По дороге, заляпаны грязью,  
шли подводы домой как раз.  
Погоняли коней сплеча  
два курносых молокососа.  
Тяжело вертелись колеса,  
по камням в колее стуча.  
На опавших боках коней  
шерсть блестела в поту и мыле,

будто их три дня не кормили  
и не чистили сорок дней.  
Охнул конюх, узнав ребят,  
в грудь ударила боль тупая.  
— Стойте, — яростью закипая,  
крикнул. — Стойте, вам говорят! —  
Подскочил, хватил по плечу  
ездового и вырвал вожжи.  
— Марш с телеги сейчас же! —  
с дрожью  
крикнул парню. — Штаны спущу!  
У-у, работнички. Бить бы вас...  
Трогай, милая. — И с разбегу  
неуклюже вскочил в телегу  
и вожжами тряхнул Тарас.  
Дождь забрызгал. И он промок.  
Ехал, правил и все ругался.  
И жалел о том, что остался  
бабкин в тумбочке узелок.



## ДЕРЕВЕНСКАЯ ОСЕНЬ

Да, сыро. Да, порою зябко...  
И все ж, наветам вопреки,  
мне осень видится хозяйкой,  
глядящей вдаль из-под руки.  
А что во взгляде том?

— Забота.

А что в улыбке? — Доброта.  
Одна закончена работа,  
другая — только начата.  
Глядит — и нет понятней взгляда,  
и молвит, кажется, слова:  
мол, чем богата — тем и рада!  
И наполняет кузова  
машин пшеницею да рожью  
и отправляет на тока.  
И терпеливо ждет порожних,  
ждет, кулаки уткнув в бока.  
Стоит — одной ногой в отаве,  
другой — в стерне... А у плеча  
птиц растревоженные стаи  
на юг проносятся, крича.

И ветер северного края,  
гудя басовою струной,  
румянит щеки ей, срывая  
багрянец с юбки продувной.  
И хмурится она, на тропы  
обрушивая облака.  
Нет, не печалится — торопит  
по-матерински мужика.

## ПРАЗДНИК НА НАШЕЙ УЛИЦЕ

Будто бы ковром, листвою опавшей  
устланы тропинки у крылец.  
Праздник, наконец-то, и на нашей  
деревенской улке, наконец!  
Праздник — нараспашку все ворота.  
Праздник — в каждом доме пироги.  
И уже опробовать охота  
о пол — а не жмут ли? — сапоги.  
И не западают ли у старой  
да бывалой хромки голоса?

...На повити, до смерти устала,  
в уголочке горбится коса.  
Отдыхают грабли — было дела  
и граблям. Пойди, взгляни в луга:  
там скирда дородная присела,  
тут лобасто выстали стога.  
А вдали — отрадою для взгляда  
озимь... И давным уже давно  
золотом поблескивает в складах  
убранное вовремя зерно.

И с отавы скатаны дорожки  
льна

руками женщин да девчат.

И дворы — теплы. И от картошки —  
слышите? — хранилища трещат.

И не грех сегодня нам, пожалуй,  
пожелать веселья: мы ль, не мы,  
чтобы он ломился, стол Державы,  
отдыха не ведали с зимы?

Сеяли, равняясь друг на дружку,  
жали, полагаясь на колхоз:  
за морем телушка-то — полушка,  
это так, да дорог перевоз.

Полыхает праздник! Кофты яркие,  
споры жарки—и поймешь не вдруг...  
Тетку Анну — первую доярку—  
так и подмывает выйти в круг.  
Выйди, Анна! Не тебя ль гармошка  
кличет?! На половочку ступи  
с каблучка и орденом—не брошкой—  
завидующих самых ослепи!  
Выйди! Мы ведь тоже не ударим  
в грязь лицом: приколотые в ряд,  
пусть и наши старые медали  
с новыми поговорят!  
Дрогнут, прозвенеет по-молодому,  
чтобы звон тот на душу упал  
тем, кто позабыл дорогу к дому  
и на праздник этот не попал...

## «ЗАКУРИТЬ — ДА БЕЖАТЬ»

Жил-был мужичок (не припомню, как звать)  
по прозвищу: «Ну, закурить — да бежать».

Бывало, проснется — росу опекло.  
И бабы, с серпами уйдя за село,

уже по суслону успели нажать...  
Зевнет он: «Хо-хо! Закурить — да бежать».

И тотчас же, лежа еще на боку,  
возьмет из кисета щепоть табаку

и трубку набьет, как богатый сосед  
под осень зерном набивает сусек.

Зажжет, запалит, задымит в две ноздри —  
хоть лопни от зависти, черт поберит!

Бывало, подыметя солнце в зенит,  
а трубка не гаснет, а трубка дымит.

Заборист, пахуч самосад-табачок!  
Так с трубкой в зубах и встает мужичок.

Чего-то попьет, пожует на ходу  
(известно, как дорого время в страду!) —

и в поле, взяв трубку с собой да кiset...  
Родится ж такой «торопыга» на свет!

Однажды, едва он засел за обед,  
в окошко к нему постучался сосед:

«Пожар, понимаешь... беги! — говорит. —  
Овин у тебя, понимаешь, горит!»

Мужик поперхнулся, в окно поглядел,  
остаток похлебки из блюда поддел,

подумав: «Беда-то какая опять.»  
И трубку достал: «Закурить — да бежать!»

Народ за деревню, к овину народ,  
а он еще только с ведром в огород.

Воды зачерпнул, прибежал. Посмотрел —  
овина-то нету... Сгорел!

...Я вспомнил о нем, просидевши вчера  
в колхозной конторе часа полтора.

## ИВАН

Есть у нас в селе Иван —  
по прозванию «Критикан».  
Коли встрянет в спор — за словом  
не полезет он в карман!  
Что не так — неумолим он,  
грудью лезет на редут:  
дескать, с должности не снимут,  
что положено — дадут!  
Кроме шубы, прямо скажем,  
шапки старой да сапог,  
он себе пока не нажил  
ничего — избавил бог.  
Не добром богат он — честью!  
И, какой бы ни был сход,  
если он, Иван, на месте —  
веселей глядит народ.  
А когда его бараньей  
шубы на проходе  
не видать, то и собранье —  
не собранье, вроде,  
а скорей поминки, или  
день ненастной осени...

Словно тесто затворили,  
а дрожжей не бросили.  
Все сидят, что кочаны,  
наслаждаясь дремой  
огородной тишины,  
опасаясь грома.  
Осушив бачок воды,  
начинают прения:  
так и сяк, на все лады  
сыплют одобрения.  
Дескать, мы — кочаны —  
поднатужиться должны  
на дворах и в поле...  
И ни слова боле!  
Что бы встать да хоть раз  
сказануть не в бровь, а в глаз,  
вскрыть все непорядки.  
Где там!.. Вдруг да не даст  
бригадир лошадки?  
А то, припомнив ссадину,  
возьмет и, не дрожа,  
обрежет приусадебный,  
зарежет без ножа!  
...Но прения без шума  
у нас-таки редки.  
Кой-кто баранью шубу  
до гробовой доски  
запомнит—непременно!..  
Однажды было так:  
забрел, держась за стены,  
на ферму наш вожак  
и: «Как дела с кормами?»  
спросив у свинаря,  
за куревом в карманы  
полез, чудак... И зря!



Шатаюсь, стал ключами  
да мелочью бренчать,  
и выронил нечаянно  
колхозную печать.  
Колхозную, гербовую!  
Да с ручкою дубовою,  
да прямо к пятаку  
колхозному хряку!  
Тот хватъ ее — и проглотил.  
Ох, и досталось борову!  
Мужик едва не своротил  
пятак ему на сторону.  
Кричал: «Неужто разжевал?»  
Орал: «Под нож скотину!»  
Иван и здесь не прозевал,  
он видел ту картину.  
Всю, от начала до конца,  
как будто на экране.  
И так отделал молодца  
с трибуны на собранье,  
что у того в руке стакан  
вдруг отчего-то треснул...  
С тех пор он кличку «Критикан»  
и носит, как известно.  
Тому ж, кто дал ее, тому...  
А впрочем-то, нам кажется,  
не одному уже ему  
вблизи-вдали икается,  
коль вдруг послышится: — Иван!  
А мы зовем Ивана  
с улыбкой доброй «Критикан»,  
мы любим «Критикана»!

## КИРЮХИНО ПОХМЕЛЬЕ

(Глава из поэмы)

Час похмелья — Нюшкин час.  
Нюшка, словно порох!  
Подвернется таз:  
— Р-раз!  
И скосит на мужа глаз:  
«Пусть встает, боров!»  
— Два! — ведро заодно  
катится от Нюшки.  
Дверью хлопнет — все равно  
выстрелит из пушки.  
Хлопнет так, что кирпичи  
шевельнутся в печи,  
дрогнут стены дома.  
Мертвый, кажется б, вскочил  
от такого грома.

Но Кирюха — черта с два! —  
он хитрей, Кирюха:  
у него голова  
и еще два уха!  
Сплю, мол, сплю, — сделал вид

Ну, а сам чует,  
как жена его костит,  
языком врачует:  
— У, пьянчужка!.. —  
Берет  
за больное место. —  
Рот-то шире ворот  
на вино, известно.  
За сто верст — помахать  
«белую головкой» —  
побежишь... Ох, связать  
всех бы вас веревкой,  
всех, надежной, одной,  
во главе с Крестовым,  
да и в омут головой,  
не мешали чтобы  
жить!..  
Кирюха лежит  
неподвижной смерти.  
Муха под носом жужжит —  
все равно терпит.  
Поднимает пыль ноздрей  
с половицы шаткой,  
лишь ресницами порой  
шевелит украдкой.  
Поскорей бы из избы  
черт унес Нюшку,  
чтобы встать, раздобыть  
где-нибудь чекушку.

Наконец еще разок  
дверью хлопнув лихо,  
Нюшка вышла за порог  
и в избе («Всему свой срок!»)  
сразу стало тихо.

— Все, встаю... — открыл глаза  
и от пола голого  
оторвал сначала зад,  
а потом уж голову.  
Сел на стул, как прирос,  
смотрит истуканом,  
пачку мятых папирос  
отыскал в карманах.  
Закурил не спеша —  
все равно, горит душа,  
и в башке разряды...  
Денег в доме ни гроша,  
а лечиться надо.  
Аж губу прикусил,  
занят мыслью грешной...

В долг — проси-не проси —  
ни за что, конечно,  
не отпустит продавец...  
— Сдай, мол, магазину  
шерсть, к примеру, с овец,  
аль яиц корзину, —  
и тогда, пятью пять,  
пей хоть до упаду!  
Мне ведь план выполнять  
все одно надо!

Вот и весь разговор...  
В сердце боль тупая.  
И выходит он во двор,  
тяжело ступая.  
Свет не мил. В душе тоска,  
а на лбу испарина.  
Шерсть —

ту нечего искать:  
раньше отоварена.  
И «расчет» за то сполна  
получен от Нюшки.  
Но... еще «статья» одна  
не исчерпана до дна:  
курицы-несушки.

И Кирюха с головой  
погрузился в дело.  
Ларь обшарил в кладовой,  
действуя умело,  
все поставил вверх дном,  
все углы оползал.  
Распалясь, заодно  
заглянул и в гнезда.  
— Ух! — и сел на сундук,  
и вздохнул: — Мало...  
Девятнадцати штук.  
ровно не хватало.

Вдруг — он даже привстал —  
вспомнил, что два воза  
бабке Дарье давал  
со двора навоза!  
— Надо ж, чуть не забыл! —  
выдохнул Кирюха.  
...Два шага до избы,  
где живет старуха.  
Постучался, за порог  
переставил ногу:  
— Аль жива? — Жива, сынок...  
— Ну и слава богу!  
Сел, волнуясь слегка,  
глянул из-под козырька,

начал издалека,  
с тонкого намека:

— А у тя, брат, сегод,  
огород — не огород,  
загляденье просто...  
Глянь, ботва-то как прет, —  
с человека ростом!

Помолчал: дошло иль нет?  
Не дошло. И снова:  
— Мол, тебе сколько лет,  
Дарья, а здорова.  
У меня ж со вчера  
в теле... лихорадка!  
— Болен — есть дохтура, —  
увильнула бабка. —  
Соберись-ка, сынок,  
да и марш в город.

И оставив чугунок  
от огня на шесток,  
глянула с укором:  
— Все гуляешь, Кирилл,  
все шумишь, слышу.  
Ты бы лучше починил  
на избе крышу.  
Нюшка баяла, худа  
крыша-то: вся в дырах...

— А чинить-то мне когда?!  
Коли в дождь — так сыро,  
а коль солнышко печет, —  
так она и не течет,  
и не каплет, значит...

Зря Анютка плачет!  
Зря и ты завела  
разговор о крыше...

Бабка сплюнула со зла:  
— Бес ты! — Трешку подала,  
и Кюрюха вышел.  
Вышел, брошенных вдогон  
дополнений слушать  
не желая: дескать, он  
пропивает душу.  
Дескать, он не в отца.  
Батька, помнят люди,  
в праздник не пил так винца,  
а не то, что в будень,  
так как в те поры и час  
мужику был дорог....  
Ах, подобные не раз  
слышал он укоры!

Продавец — в его ларьке  
от бутылок давка —  
Кирю с трешкою в руке  
встретил у прилавка:  
— Вот теперь, пятью пять,  
пей хоть до упаду!  
Мне ведь план выполнять  
все одно надо.

Взял бутылку Кирилл,  
а еще, для плана,  
пару пряников купил,  
попросил стакана.  
Потскло по усам  
да и в рот поггло.

Но не стал пить все сам,  
угостил Степана  
— Не... Не пью!— сказал Степан,  
— Ха! Теленок тоже  
не пил, не пил, да и пал,  
а ведь пил бы — пожил!

Сдался, тот, наконец.  
А потом горькой  
взял и сам... Продавец  
улыбнулся только.  
И обоих за дверь  
выставил без грома:  
— Мол, все, мол, теперь  
продолжайте дома.  
У меня не ресторан,  
братцы, не чайнуха.

И пошли они — Степан  
а за ним Кирюха.  
И пошли — в руке рука, —  
ноги заплетая.  
И была им узка  
улица родная.  
До избы не добрались,  
сели под забором.  
«Я люблю тебя, жизнь!» —  
затянули хором.  
И еще: «Не за так,  
за свои мы пили!»

...Спал Кирюха в кустах,  
а Степан в крапиве.



## ЧЕРЕМУХА НА ДЕРЕВЕНСКОЙ УЛИЦЕ

Ее, молодую, из лесу когда-то  
хозяин в деревню принес на плечах.  
Он вырыл ей яму железной лопатой,  
он полил ей корни водой из ключа.  
И встала черемуха рядышком с домом.  
И любо ей было занятие одно:  
мести по карнизам зеленым подолом,  
пахучей метелью швыряться в окно.  
Да терпкие ягоды — много ли, мало —  
дарить ребятишкам в ладони... Но вот  
однажды ни окон, ни дома не стало,  
один лишь бурьян по соседству растет.  
Куда ни протянет черемуха руки —  
зовущие руки — кругом пустота.  
Ей снятся калитки знакомые звуки,  
ей грезится окон резных высота,  
и песня про горы золотые, и говор  
из окон, и хромки лихой перебор...  
Вот так и хозяин, уехавший в город,  
наверно, тоскует о ней до сих пор.

## БАБУШКИНЫ ПЕСНИ

Помню зимние вечера.  
Снова дует сегодня с севера.  
Входит в валенках со двора  
наша бабушка, Алексеевна.  
Из подойника молоко  
льет в посудинки, дужкой брякая...

До спанья еще далеко.  
Еще бабушка сядет с прялкою,  
небольшой, но такой баской, —  
словно в горенку глянет солнышко.  
И закружится веретенышко,  
зѣжужжит под ее рукой.  
Запотрескивают дрова,  
свет запляшет у ног — в два лучика..

И придут ей на ум слова  
песни старой про Ваньку-ключника.  
Под жужжанье веретена —  
прядись, ниточка, прядись, тонкая, —  
поплывет по избе она

и неспешная и негромкая.  
Вся страдание и печаль,  
вся о том, как княжна коварная  
миловала-любила парня  
Ваньку-ключника по ночам.  
Завывает метель в трубе  
знобко, жалостно... А в избе  
льется песня — печаль-забавушка.  
И раздумавшись о себе,  
о злосчастной своей судьбе,  
утирает слезинку бабушка.

Ой, не выюгою ли шальной  
ее тропочка замечается!  
Песня льется, переплетается  
с тонкой ниточкою льняной.  
И протяжна, и широка,  
и ничем таким не расцвечена,  
выпрядается бесконечная  
вместе с ниткой из кужелька.

## ПЕРВЫЕ УРОКИ

*Сергею Орлову*

Ликбез припомнился сейчас мне,  
Тогда меж делом, на дому,  
Учились люди... Я причастен  
И сам к учению тому.  
По вечерам, как на работу,  
Заботу ведая одну,  
Я шел учить письму и счету  
Авдотью — мельника жену.  
Светились избы мутным светом.  
Я шел, достоинство храня,  
Нарочно мимо сельсовета,  
Чтоб люди видели меня.  
Совсем малыш еще, нимало  
Не обижался я на то,  
Что мне Авдотья помогала  
И дверь открыть, и снять пальто,  
Даря при этом мне улыбку...  
А я садился у окна  
И ждал, покачивая зыбку,  
Пока обрядится она.  
Я ждал. Она дрова носила,

Гремела ведрами в углу,  
Потом брала на руки сына  
И подвигалась с ним к столу.  
Смолкал, на радость мне, мальчишка,  
Поймавши розовый сосок.  
А я давал Авдотье книжку,  
И начинался наш урок.  
Урок. Теперь уж чувств тех самых,  
Наверно, я не передам,  
Когда впервые слово м а м а  
Она читала по складам.  
Когда, старания и веры  
Полна, она в свою тетрадь  
Писала трудные примеры:  
И дважды два и пятью пять...  
Мы с нею многое умели,  
Мы с нею многое могли.  
Но приходил с работы мельник,  
Весь, до бровей, в мучной пыли.  
Авдотья тотчас убирала  
Свою тетрадку и, пока  
Он мылся, быстро накрывала  
Нехитрый стол для мужика.  
— И ты поел бы, скоро — восемь... —  
И угощала пирожком.  
И подпоясывала после  
Меня отцовским ремешком,  
Совала в руку мне конфетку...  
И я, идя домой, опять  
Решал, какую же отметку  
Авдотье выставить в тетрадь...

## УЧИТЕЛЬ

Учитель — слово-то какое!  
Учитель... Вот они бегут  
тропиночкой по-над рекою  
воробышки, что меж собою  
тебя учителем зовут.

Бегут. Румянятся их лица.  
А в сумочках карандаши,  
тетради... И еще частица  
твоей — на всех одной — души.

Который год — ах трудно, право,  
и вспомнить: годы так летят! —  
ты перед этою оравой  
встаешь... Который год подряд!

О, сорок пять минут урока!  
О радость полной тишины,  
когда, распахнуты широко,  
глаза к тебе устремлены.

Доверчиво и беззащитно  
глядят они. И ты в кругу  
тех синих, карих глаз, учитель,  
как на нескошенном лугу.

И пусть, и пусть кому-то странным  
покажется со стороны,  
что ты своей,  
                                порою ранней  
не замечаешь седины.

И, брови сдвинувши в заботе,  
к тетрадям тянешься опять...  
Есть упоение в работе —  
дано не каждому понять.

## КНЯЖИЦА

Когда наступает  
хлебов косовица,  
в лесу поспеваает  
княжица, княжица.  
Ах, что за услада,  
утеха для взгляда,  
вкуснее и слаще  
малины из сада!

Коль женщины наши  
в лесу сенокосят,  
для Танек, для Яшек  
княжицу приносят.  
Зеленые листья,  
багряные кисти  
на солнце сверкают  
рубинов лучистой.

— Княжица, княжица,  
лисичкин подарок!  
Мальчишечьи лица  
светлеют недаром.



Княжица, княжица, —  
не зря говорится.  
Ее, знать, растила  
княжна иль царица.

Растила до срока,  
росой поливала,  
чтоб наполнилась соком,  
скорей созревала.  
Как хвоя ресницы  
у этой царицы,  
а щеки, а губы  
румяней княжицы.

Лесные владенья ее  
не обмерить.  
Ей служат с раденьем  
и птицы и звери.  
И, может, лисица  
там главный садовник...

Кистями княжица  
ложится в ладони.  
Не как угощенье  
для Мишки иль Васьки,  
а как продолженье  
задумчивой сказки.

## ПЕСНИ В СТАРОМ ДОМЕ

*А. И. Сушинову*

Вот и укатали сивку горки...  
Борода седа, туманен взор.  
Будто бы и не был он Егоркой,  
Будто вечно старым был Егор.  
Кто теперь он? Дряхлая осина:  
И стоит еще, а не живет...

Выхлопотал пенсию за сына,  
Что пропал без вести в грозный год.  
И за то спасибо добрым людям...  
«Отдыхай! — твердят и стар, и мал.  
Отдыхай... Но как он, отдых, труден  
Для того, кто век его не знал.

Поутру дровишек для сугрева  
Выйдет нарубить себе Егор,  
Постоит, топор сжимая в левой,  
Правою крестясь на косогор  
В сторону, где белая когда-то  
Церковка гудела на юру...

Хлебных крошек вынесет цыплятам,  
Раз-другой пройдетя по двору —  
Нету дела! Скучно, одиноко...  
Сядет на скамейку у крыльца:  
— Не гони кобылу-то без проку! —  
Крикнет на иного сорванца.  
Пробегут девчата мимо, спросит:  
— Лен-от весь посеяли, аль нет?..  
И опять тоскует... Не выносит  
Горького неведения дед.  
Забредет в колхозную контору,  
Посидит, покурит — и назад:  
Счетоводам не до разговоров,  
Счетоводы мало говорят.  
Не с кем побеседовать Егору!..  
Оттого не в радость ни цветы,  
Ни теплынь ему...

Но в эту пору  
Повидаться с ним из Воркуты  
Дочь явилась. И не ждал, не ведал!  
Чемодан взвалила на скамью  
И достала, гнутую, для деда  
Трубку, чтобы помнил дочь свою...  
Чтоб не тосковал, как прежде, старый,  
Чтобы не торчал в конторе он,  
Привезла она еще в подарок  
Батьке ящик песен — патефон.  
Знал давно Егор об этой штуке,  
Слыхивал не раз в чужом окне.  
Но, чтоб так вот в собственные руки  
Песню взять — не снилось и во сне!  
...Дочка подняла проворно крышку,  
Завела «Рябину»... И когда  
Песня смолкла, он сказал чуть слышно:  
— Ишь ты! — И потом негромко: — Да-а...

И ни звука не прибавил кроме:  
Что-то с места стронулось в груди...

А через неделю в старом доме  
Вновь остался дед Егор один.  
Утром, молока отпив из кринки,  
Как колдун, садился он к окну,  
И крутились черные пластинки  
В знак повиненья колдуну.  
«Степь да степь кругом...»

А перед взором,  
Где-то там, за песней, вдалеке,  
Оживала молодость Егора  
В старом домотканном армяке.  
Вспоминалась сивая кобылка,  
Зимний, лесом, путь до городка,  
Жирная хозяйская ухмылка  
Жабина Алехи-кулака.  
Он ли не старался для Алехи!.,  
Да однажды — господи, прости! —  
В клюню, конопаченную мохом,  
Ночью петуха-таки пустил.  
До рассвета, страхом обуяна,  
В темноте заветного крыльца  
Убивалась лада Маремьяна  
На плече упрямом молодца.  
«Вызнают, Егорушка, засудят!...»  
Не узнали. Пронесло беду...  
Только чаще с этой ночи люди  
Кланялись Егору на ходу!

...А потом заречные поляны  
Видели нередко их вдвоем.  
Мыли росы косы Маремьяны,  
Соловьи не спали для нее.

А однажды под березкой белой  
Засиделись досветла они...  
«Распрямись ты, рожь!..—пластинка пела,—  
Тайну свято сохрани!»  
Рожь! Она, бывало, по угору  
встанет — колос к колосу — стена!  
До зерна — своя!.. И все ж Егору  
Вспоминалась чаще не она.  
Не она, докучная, — другая:  
С жаворонком в небе голубом,  
Буйная, высокая, тугая,  
Межи захлестнувшая кругом.

И Марюта вспоминалась чаще  
На колхозной, общей полосе...  
Жатва бабам — праздник настоящий:  
Выйдут утром, вырядятся все,  
Запоют... Была Егора жёнка  
Первою певуньей на весь край.  
На дожинках люди крикнут звонко:  
— Ну-ка, Маремьяна, запевай! —  
И она, взглянув кругом несмело,  
В кофточке, по-девичьи пряма,  
Пела так, что... Нет, она не пела —  
Становилась песнею сама!  
«В низенькой светелке...» — выводила...  
Хоть давно по-новому жила,  
Песни все же старые любила:  
В девках их еще переняла.  
Пела про любовь, и про измену,  
Про лихую долю... В те года  
Знала и себе Марюта цену,  
А гордилась мужем навсегда.  
И не зря: Егор трудился честно,  
В доме был достаток и уют

(Песни мрут от голода, известно,  
Песни в светлых горницах живут!).  
Рядовым работником и властью  
Был Егор — вчера еще батрак...  
Думалось, конца не будет счастью,  
А на деле вышло все не так.

...В знойный полдень, в поле, прямо к стогу,  
На буланом взмыленном коне  
Прискакал парнишка босоногий  
С вестью о войне.  
И померкли солнечные дали...  
И в пыли разбитых большаков  
Нет, не пели жёнки — причитали,  
Провожая к фронту мужиков.  
А назавтра жали и косили,  
Шли за плугом, утирая пот,  
Дочери сражавшейся России,  
Удивительный народ!  
День и ночь работают, бывало...  
И Егор старался, сколько мог.  
Выдюжил — а сердце-то сдавало —  
Вынес... Но Марюту не сберег.  
Умирала просто, как с беседы  
Уходила... Горестней всего,  
Что не дожила до Дня победы  
Труженица вечная его.

...Снова бьет в окно заря румяна.  
Нарядились в лучший свой убор  
Лес и та, заречная, поляна...  
И вернись сейчас бы Маремьяна —  
Нет, не удивился бы Егор!  
Выдвинул бы стол на середину,  
Встрече с ней, как в молодости, рад.

Для нее «Уральскую рябину»  
Прокрутил бы десять раз подряд.  
«Вот, мол, есть какие песни ноне!»  
Ей бы по душе пришлась она...

Музыка гремела в патефоне.  
И вздыхал о чем-то старина.  
Был ему и горем и отрадой  
Дочерин подарок дорогой.  
Ну, а людям... Людям то и надо:  
Плохо ль, если песни под рукой.  
Вечером, идя домой с покосов,  
Обогнут Егорушкин сарай,  
Побросают к огороду косы,  
Сядут на завалинку: — Играй! —  
И старик, послушный и спокойный,  
Открывал все окна в палисад,  
Ставил патефон на подоконник  
И играл, что было, все подряд.  
Плыли песни... Опускались росы...  
Липы замирали у крыльца...  
И, забыты, гасли папиросы,  
И воспламенялись сердца.  
А хозяин — слушал да молчал он.  
И казалось снова старику:  
Патефон рассказывал сельчанам  
То, что он изведал на веку.

## В ГОРОДЕ

Мать приехала в город к сыну.  
Нет, не в гости на этот раз.  
На высокий этаж насилу  
с сыном под руку поднялась.  
Полпролета пройдет — и станет,  
воздух меряя на глотки,  
не снимая с перил усталой,  
в синих жилах, большой руки.

Глухо сердце больное билось,  
а ступеньки все вверх вели.  
И чем ближе до неба было,  
тем все далее от земли,  
по которой, чтобы скорее,  
столько хожено босиком...

Как же жить ей теперь над нею,  
словно облако, высоко?

И едва отошли морозы,  
стало солнышко припекать,



«Что-то в нашем теперь колхозе?» —  
вслух однажды вздохнула мать.  
К шуму города безучастна,  
стала тихой — не ест, не пьет.  
Словно старую птицу, властно  
потянуло ее в отлет.

Сын балкон распахнул: гляди, мол,  
мама, город растет какой!  
Талым снегом пахнуло, дымом  
домен, выросших над рекой.  
Небо заревом полыхало...

И сказала она в ответ:  
«Пароходы пошли, слыхала...  
Ты б купил мне, сынок, билет».

## ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ДЕРЕВНИ

Гляжу в окно вагона:  
— Ах, скоро ли вокзал?  
Как будто бы полгода  
(пол-го-да... пол-го-да...)  
я дома не бывал.  
Летит полужащторенный  
передо мной экран...  
— Эх, завалюсь-ка, что ли, я  
сегодня в ресторан!  
Пусть скатерть самобранная  
мне явит чудо вдруг.  
Прости желанье странное  
ты мне, читатель-друг.  
И то: в ушах — мычание  
да гусениц лязг...  
И хочется отчаянно  
взглянуть, прищурив глаз.  
как там фокстроты режут  
втроем: одна труба,  
рояль, с утра нетрезвый,  
да пьяный барабан,

как, обливаясь потом,  
танцуют — нелегко! —  
прибывшие с отчетами  
плешь и еще брюшко...  
Меж столиков, меж рюмочек,  
да с пятки на носок,  
вокруг высоких юбочек —  
аж сыплется песок!  
Кружится бритый окорок...  
Ох, глянула б жена —  
упала б, верно, в обморок,  
сердешная она.  
А рядышком два малых  
танцуют — не одни —  
на талиях бывалых  
четыре пятерни...  
И пряжка о пряжку  
искрят. Духота.  
И в стиле — нараспашку —  
рубашек ворота.  
Я встану, брови хмуря,  
я трешку положу  
и, вопреки халтуре,  
сыграть «Ревела буря...»  
таперу прикажу.  
И поплывет широкая  
та песня. Пусть плывет!  
Пусть этот бритый окорок  
хоть дух переведет!  
И под ее рыдания,  
ее девятый вал,  
я вспомню избы дальные,  
в которых побывал,  
вас, девушки бедовые,  
на клубных вечерах,

и вас, солдатки вдовыё,  
на фермах и дворах,  
вас, мужики, над пашнею  
в холодную весну...  
И вдруг глазами вашими  
я вокруг себя взгляну.  
Прищуренно, с грустинкою...  
И не замечу, как  
под сердце влажной льдинкою  
подкатится тоска,  
нежданная и острая...  
И мне сильнее стократ  
К тропиночкам да росстаням  
захочется назад,  
хлебнуть ветров, настоянных  
на росах по утрам...  
Летит полузашторенный  
передо мной экран.

## БАЛЛАДА О ХЛЕБЕ

Я помню: мы вышли из боя  
в разгар невеселой поры,  
когда переспевшие, стоя,  
ломались хлеба от жары.

Ни облака в небе, ни тучи.  
Не чая попасть на гумно,  
слезой из-под брови колючей  
стекало на землю зерно.

Солома сгибала колени,  
как странник, уставший в пути...  
В Ивановке — местном селении —  
Иванов — шаром покати!

Авдотьи кругом да Орины,  
короче — солдатики одни.  
И видим: еще половины  
хлебов не убрали они.

Уставшие—шли не с парада, —  
не спавшие целую ночь,

мы все же решили, что надо  
хоть чуточку бабам помочь.

И тут же, по форме солдаты,  
душой же все те ж мужики,  
мы сбросили пыльные скатки,  
составили в козла штыки.

И в рост — во весь рост! —  
не сражаться  
пошли, — нетерпением горя,  
пошли со снопами брататься,  
в объятья их по три беря.

Мы вверх их вздымали, упрямы.  
И запах соломы ржаной  
вдыхали, хмелея, ноздрями  
на поле, бок о бок с войной.

И диву давались: когда-то,  
еще не начав воевать,  
от этой вот благодати  
мы даже могли уставать...

Сейчас же все боле да боле  
просила работы душа.  
И мы продвигались по полю,  
суслоном чубы вороша.

Мы пели б — наверное, пели б, —  
работу беря на «ура»,  
когда бы ребят не жалели,  
схороненных нами вчера.

Им было бы так же вот любо,  
как нам, наработаться всласть,

и сбросить пилотки, и чубом  
к снопам золотистым припасть.

Вдохнуть неостывшего зноя  
и вспомнить на миг в тишине  
родимое поле ржаное,  
и, может, забыть о войне.

Забыть, что фашист наседает,  
забыть, что у края жнивья  
винтовка тебя ожидает,  
а вовсе не женка твоя.

Но было забыть невозможно.  
Платки приспустивши до глаз,  
тоскливо, печально, тревожно  
глядели солдатки на нас.

Им виделась жатва иная...  
Они из-под пыльных платков  
глядели на нас, вспоминая,  
конечно, своих мужиков.

А мы всё ломили работу,  
носились, не чувствуя ног,  
сечьем умывались потом  
в последний, быть может, разок...

И слепли от этого пота.  
И очень боялись, вот-вот  
раздастся жестокое: — Ро-та!  
И все, словно сон, оборвет.

## ДЕВЧАТА

*А. Яшину*

Сон свалил деревню. Поздно.  
Спит зеленая страна.  
Только месяц, только звезды  
да гармонь не спит одна.  
Там девчата-хохотушки —  
гармонист у них в чести, —  
словно семечки,  
чапушки  
сыплют под ноги друг дружке  
до полуночи почти.  
Что им сон — девчатам нашим!  
Каблучками словно шьют.  
От любви сгорают — пляшут,  
от измены сохнут — пляшут,  
и зимой и летом пляшут —  
как они не устают?!  
А была война — плясали  
все равно и в дни войны.  
Встанут, было: парни — сами,  
и гармони — тоже сами,  
сами — песельницы, сами,  
наконец, и плясуны.



Были болью, были мукой,  
не стихавшей ни на миг,  
эти песни о разлуке,  
эти пляски «под язык».  
Да и пели-то, признаться,  
для того лишь, может быть,  
чтобы вдруг не разрыдаться,  
чтобы в голос не завывать.  
Злы и грубы были песни.  
Пели так — и в этом суть, —  
чтоб врага не пулей если,  
так хоть словом полоснуть!

А хотелось песен светлых.  
Но была без пареньков  
кладовая слов заветных  
заперта на семь замков.  
И они не потускнели  
те слова в сердцах девчат...  
«Скоро ль, серые шинели,  
вы воротитесь назад».

По траве да по росе  
Сгинул, минул срок тот страшный...  
По траве да по росе  
воротились помилашки,  
воротились, да не все.  
И летела в край из края  
о девченокках молза:  
чуть не каждая вторая  
незамужняя вдова.  
Две недели, три недели,  
сто недель потом подряд  
пели... плакали и пели  
те девчонки, говорят.

А однажды замолчали:  
на другом конце села  
без тоски и без печали  
песня крылья развела.  
Полетела, словно эхо  
песен, спетых до войны,  
одаряя смехом, смехом  
все четыре стороны:

«Девочки, любовь горячую  
носите под платком.  
Я носила под косыночкой —  
раздуло ветерком».

Половодьем песен этих  
ты, мой Север, и хорош!  
Спит округа. Месяц светит.  
Сны досматривает рожь.  
Желторотые грачата  
в гнездах спят, и спят грачи  
возле гнезд... Одни девчата  
ходят с песнями в ночи.  
Ходят улицей знакомой.  
И у каждой для дружка  
песен сто с собой да дома  
под завязку — два мешка!

## В МЕТЕЛЬ

Ах, давно ль это было,  
как вошел ты, Степанко,  
со звездой пятикрылой  
на армейской ушанке  
в сумрак горенки чистой,  
где ждала тебя мама,  
где ты мог перечислить  
каждый гвоздик на память,  
все сучки в половицах,  
что скрипят под ногами...

Мать оставила спицы  
и всплеснула руками:  
— Чуло сердце-то, чуло!  
Вспоминала весь вечер. —  
И немножко всплакнула:  
— Что бы выйти навстречу...

Стол родная накрыла:  
— Ешь! — И села напротив...

Было все это, было,  
да прошло — не воротишь.

...Спит мурлыкая, кошка,  
стонут жалобно сени.  
Мать сидит у окошка,  
положив на колени  
безучастные руки,  
смотрит молча куда-то...  
Так молчат в час разлуки,  
примирившись с утратой.

Оставляешь ее ты,  
одинокую, дома.  
Здесь, в колхозе, работать  
нет, решил ты, расчета  
для тебя, молодого.  
Потому как в артели  
все не так, как бывало:  
и дома постарели,  
и достатка не стало.  
И совсем не радуется  
предколхоза Гордеев  
о делах... А она-то  
все мечтала, надеясь  
на тебя, на солдата.

— Ты б, Степан, молодуху  
в дом привел, — говорила. —  
Все бы помощь старухе,  
все бы легче мне было.  
Поработали б честно,  
завели бы корову.  
Все бы стало на место,  
жили б сыты, здоровы.

Я сама еще тоже  
не бежала б от дела:  
помогала бы все же,  
на печи не сидела.  
Внуков нянчила б... словом,  
не была бы чужая...

Но уходишь ты снова  
из родимого края.

Сени охнули глухо.  
Отсчитал три ступени  
и — в метель-завируху,  
и — в сугроб по колени.  
Оглянулся, немножко  
прошагав по деревне:  
мать стоит у окошка,  
мнет в ладонях передник.  
Не видать, с сожаленьем  
смотрит или с укором?  
Ах! — И в снег по колени,  
И пропал за забором.  
До свидания, хаты!..  
А метелица в спину:  
«Стой, Степанко, куда ты?  
На кого дом покинул?  
Не вернешься обратно —  
мелом выбелю кожу,  
положу на лопатки,  
замету, заморожу...»  
Белой гривой играя,  
воет, путает ноги.

Завируха какая.  
Ни пути, ни дороги.

Снег по пояс деревьям  
и стогам по макушку.  
Дальше, дальше деревня,  
ближе леса опушка.  
Не тяжелая ноша  
у тебя за плечами:  
сапоги, да калоши,  
да мешок с сухарями,  
да рубахи две колом —  
те, что осенью справил.

Все забрал ты из дома,  
только душу оставил.  
Разве взять ее можно?!  
Приросла, прикипела  
к этим далям дорожным,  
к этим зорям несмелым,  
к этим рощам сорочьим  
да озерам заветным.  
приросла она прочно,  
словно к дереву ветка.

И куда б ни ушел ты,  
будет все тебе сниться  
луг ромашковый желтый,  
лен в цвету да пшеница.  
И заманчивый город,  
тот, куда тебя тянет,  
домом станет не скоро  
или вовсе не станет.  
Будешь ты у буфетов  
пиво пить городское,  
деревенское лето  
вспоминая с тоскою.

И сухие мозоли  
на руках ковыряя,  
вспомнишь скирды на поле  
заозерного края,  
вспомнишь волн перекаты,  
спор гармоник задорных...

Так куда же, куда ты  
так стремишься упорно?  
Только счастьем навстречу  
так, пожалуй, стремятся...

Как потухшие свечи,  
сосны снегом дымятся.  
И кружится, кружится  
вихрь, следы засыпая.  
А тебе сослуживцы  
вновь приходят на память.  
Два дружка из Рязани  
с голубыми глазами  
да еще непреклонный  
старшина с орденами.  
Вот они, как на смотре,  
встали все по ранжиру.  
Отчего же не смотришь  
ты в глаза командиру?

Не был первым во взводе  
ты, сказать откровенно,  
но не хныкал в походе,  
если грязь по колена.  
Шел упрямой походкой,  
от жары полуденной  
прикрываясь пилоткой,  
потной и пропыленной.

Метко бил из винтовки...  
И могли сослуживцы  
в боевой обстановке  
на тебя положиться.  
А сейчас? Где-то рядом  
слышишь их голоса ты.  
Но не рады, не рады  
встрече этой солдаты.  
Подошли, окружили,  
правду горькую кроя:  
«Значит, бросил, служивый,  
деревеньку без боя?  
Отступаешь, вобравши  
робко голову в плечи?  
Струсил, стало быть? Страшно?  
Ищешь, где бы полегче?  
Зря с тобой мы дружили!..»

Не прорваться из круга...  
«Струсил, струсил служивый! —  
гелосит в поле вьюга. —  
Струсил!» — воет, озлобясь...

— Стой! Куда тебя, черта!  
Глянул: сзади в оглоблях  
лошадиная морда.  
Встал, сутулясь, в сторонку.  
А с передней подводы  
звонкий голос: — Девчонки!  
Я нашла пешехода!  
А девчата со смехом:  
— Молодого? — С усами.  
— Что ж, усы не помеха,  
забирай его в сани!



— Мне-то что! Пусть садится:  
места много, не жалко...  
В рыжей шубе возница,  
в шерстяном полушалке.  
Что ей лютая стужа,  
что ей ветры сквозные!  
Нос курносый наружу  
да глаза озорные.  
Смотрит, варежкой теплой  
прикрываясь от ветра:  
— Ой, да кто это? Степа?  
— Я... Здорово, соседка.  
Не узнала солдата? —  
улыбнулся устало  
— Да садись же! Девчата,  
это Степа Завьялов!

Прибежали гурьбою,  
рады девушки встрече.  
Сели рядом с тобою,  
навалились на плечи.  
и пошли тараторить:  
мол, живем не богато,  
да не в том наше горе —  
женихов маловато.  
Разбежались по свету...  
Мол, в звене молодежном  
ни единого негу —  
просто жить невозможно!  
На гулянье и в поле —  
всё одни, не до смеха.  
Ты, Степанко, бы, что ли,  
в наш колхоз переехал.  
Мы б тебя счетоводом —  
знай костяшками брякай.

— Но куда ж вас, однако,  
понесло на подводах  
по такому морозу?

— Как куда? Удобренья  
мы со склада вывозим  
через вашу деревню.  
Председатель Евсеев  
нас гоняет недаром:  
льна решили посеять  
нынче сорок гектаров.

— Сорок?

— Да! И докажем  
нашу хватку народу!  
Ну, а ты-то куда же  
держишь путь в непогоду?  
Вздвогнул — будто колючий  
снег скатился за ворот,  
будто пулею жгучей  
шапку сбило: — Я? В город...

— А когда же обратно?

— Видно будет... У брата  
побываю... — Понятно.

И замолкли девчата.

А одна не стерпела:

— Что ж, счастливой дороги!  
Мало ль в городе дела...  
Брату кланяйся в ноги.

Может, где и пристроит.

Ну, хотя бы завескладом.

Для такого «героя»  
лучше места не надо!

На ночь запер ворота —  
и гуляй без забсты.

— Нам бы где ни работать,  
лишь бы впрямь не работать, —  
пошутил ты несмело.

И добавил, краснея:

— Ну, какое вам дело.  
как устроюсь и где я?!

— За тебя нам обидно,  
Степа! — крикнула Ира. —  
Плохи были, как видно,  
у тебя командиры.

— Вот что, Ирка, довольной  
Командиров не трогай!  
Мне без этого больно...  
Слышишь? — бросил ты строго.

— Что ж, молчу, если надо, —  
тихо Ира сказала.  
И до самого склада  
больше губ не разжала.

И когда ты, котомку  
перебросив на спину,  
попрощался негромко  
и подводу покинул,  
вихрь, бродяга бездомный,  
с ревом бросаешь навстречу,  
будто старый знакомый,  
грубо обнял за плечи.  
И с тобою в обнимку  
потаялся тропинкой,  
шелестя тебе в уши,  
леденя тебе душу...

## ПОСЛЕ ВОЙНЫ

*М. Дудину*

В день святого Пантелеймона  
(Впрочем, тут ни при чем святой),  
Повернувшись спиной к иконам,  
Пили женщины — дескать, что нам! —  
Мутной браги хмельной настой.

Угощали друг друга рьяно,  
Грубо, попросту, по-мужски.  
Пели звонко, плясали пьяно  
И смеялись до слез. С тоски.

А тоска велика, без меры.  
Встанут в круг, подперев бока, —  
Сами дамы и кавалеры,  
Ни единого мужика.

Ну, хотя б один завалищий,  
Даже пусть инвалид какой.  
Покурил бы, коли курящий,  
Уцелевшей обнял рукой...

Нету! Даже за гармониста  
(Научила всему нужда)

Тоже баба — толстушка Христа,  
Радость горькая и беда.

Ах, и что за гармони были  
Раньше — Христиной ли чета!  
Где те парни? Одних убили.  
А другие совсем забыли  
Эти северные места.

Пляшут женщины: — Ах вы, сени!  
Пой, тальяночка, норови! —  
Шумно в горнице, а веселья —  
Нет веселья, хоть впрямь реви.

Может, с песнею вдоль посада  
Им пройти бы — рука в руке —  
И себя и свои наряды  
Показать бы — да перед кем?  
Ходят улицей, крутозобы,  
Только куры да петухи...

Скучно: где же вы, хлеборобы?  
Трудно: где же вы, женихи?

## ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

(Из М. Каримова)

То на высотке, то у края пашни  
белеют обелиски в тишине...  
Но где могилы бѣз вести пропавших,  
исчезнувших бесследно на войне?

Когда они пропали — неизвестно,  
у переправ каких, каких высот?  
Ни матери, ни жены, ни невесты  
их гибель не оплакали в тот год.

Была еще надежда: может, живы  
их сыновья, зазнобы, мужики...  
И верили они цыганкам лживым,  
последние даря им пятаки.

И верили, не думая отречься  
от них, наветам злым наперекор,  
что радость ожидает их при встрече,  
а не в казенном доме разговор.

Но не сбылось для них ни то, ни это,  
утерли слезы жены — не сбылось! —

поверив, наконец, что все же где-то и впрямь сложить им головы пришлось.

Не донеслось ни зова и ни стога оттуда, потому что среди них ни одного — судьба была жестока — не оставалось более в живых.

...Пропавшие без вести! И на дыбах вы умирали, даже слова с губ не проронив. И вылетали дымом из низких тех, из тех зловещих труб. Тонули в хлябях, в воздухе горели, взрывались, пробегая по стерне... И тот, кто оскорбит вас подозреньем, тот, я отвечу, не был на войне.

## НАГРАДЫ

(Из М. Каримова)

Я вот о чем подумал: у солдат,  
прошедших за войну все круги ада,  
дышавших горьким дымом Сталинграда,  
давным-давно забытыми лежат  
награды... Словно это так и надо.  
Лежат медали — не на пиджаках,  
серебряные — не на гимнастерках,  
и ордена лежат, как на задворках,  
в пропахших нафталином сундуках.  
Давно не прикасалась к ним рука,  
копавшая окопы и землянки,  
рука, не раз висевшая на лямке,  
швырявшая гранаты во врага.  
Давным-давно не драила она  
сукном шинельным — чтоб они блистали! —  
оплаченные мужеством медали,  
оплаченные кровью ордена.  
Лежат награды, как погребены...  
А ведь они солдатам не мешали,  
нет!.. Славили они и украшали  
героев, возвратившихся с войны!



Блистал, звенел серебряный прибой  
наград — длинна, трудна была дорога...  
Их много — это верно — очень много.  
Но тем они значительней собой!  
И потому для тех, кто вновь беду  
накликать хочет в дом наш, — надо, надо  
прошедшим за войну все круги ада  
держат свои награды на виду!

## А ТЫ БЫ СМОГ!

Сюда, где между двух берез  
дот в землю врос,  
где трав зеленая волна  
да тишина,  
да амбразуры глаз пустой —  
приди, постой...  
Замри на миг — и мертвый дот  
вдруг оживет.  
И раскаленный пулемет,  
дрожа, начнет  
лесок простреливать, а там  
лежишь ты сам...  
Вот целится в тебя сейчас  
граненый глаз.  
И снег вокруг изрыт свинцом,  
в крови лицо.  
Но ты ползешь. Еще бросок...  
Еще рывок!  
И вот он — враг! Но нет гранат.  
А под огнем друзья лежат...  
Решай, солдат!

...Ты здесь и часу не стоял,  
а старше стал.  
И понял ты, о чем шумят,  
о чем твердят  
с продутой ветром высоты  
берез листы  
и травы шепотом у ног:  
«А ты бы смог?  
А ты бы смог, как он, в снегу,  
лицом к врагу  
ползти?.. И броситься вперед,  
на пулемет?  
Чтоб дот, ослепнув сразу, смолк?  
А ты бы смог?»

## ЛЕДОХОД

Я дьявольски люблю его работу —  
неукротимый ход воды и льда!  
Что мне напоминает он? Пехоту,  
штурмующую крепости, когда  
отваге гесно на широком поле,  
и цепи не рдеют — их все боле, —  
и наша сила верх-таки берет!

Штурмуют льдины мостовой пролет!  
Идут — и гулом ход их отдается.  
Идут серединой взбешенной реки.  
Идут прорваться или расколиться  
о непоколебимые быки.  
Туман, как пыль похода, над рекою...

Не всякому — о нет! — дано такое:  
Вот эта правит к берегу, а та  
уже на кочке около моста  
угрюмо наслаждается покоем.  
Лежит... А льдины, мимо проплывая,  
сшибаются, взлетают на дыбы.

Лежит, еще сама не сознавая  
жестокую иронию судьбы.  
Счастливая? Но счастье в чем — растаять?  
Ведь ей дано, по совести, одно:  
исчезнуть преждевременно, оставив  
после себя лишь грязное пятно.  
И в жизни так — она необратима:  
на кочку сел — и все промчится мимо...

О ледоход! Штурмуй пролет моста!  
Мне по сердцу твоя неукротимость,  
напористость твоя и прямота!

## БАЛЛАДА О ЧИСТИЛЬЩИКЕ САПОГ

Из дома уходит он рано.  
И прежде чем ногу поставить  
на стертый годами порожек,  
кладет на него он ладони  
и, чуть приподнявшись, проносит  
над ним, что зовется ногами,  
верней, что осталось от ног.

Хорошая нынче погода!  
Рабочая нынче погода!  
И надо, покуда машины  
асфальт не полили водою,  
на шумную выехать площадь:  
там пыльной обутки полно.

И вот прибавляет он шагу...  
Простите, не шагу, а маху.  
И делают руки покорно,  
что, помнится, делали ноги:  
не так чтобы скоро, а все же  
они его движут вперед.

А солнце палит. Рукоятки  
в ладонях совсем отсырели.  
Вот парк — здесь немного прохладней, —  
а вот наконец-то и площадь...  
И снова работа рукам же:  
они его садят на ящик,  
другой перед ним выставляют  
и щетки, и бархата лоскут,  
и ваксу кладут на него.

Спасибо вам, руки! Он весел.  
Он полон надежд, как удильщик,  
забросивший удочки в омут  
на тихой и ранней заре.  
Он весь ожиданье А мимо,  
как рыбы, как красные рыбы,  
бесшумно почти проплывают  
то туфли на мягкой резине,  
то черные, словно налимы,  
ботинки, потом сандалеты,  
и редко совсем сапоги.

— Почистим, приятель! — зовет он.  
И щетку подбросивши, ловит,  
вниманье прохожих хоть чем-то  
стремясь обратить на себя.  
И это ему удается.  
Мужчина с газетой в кармане  
подходит и ставит на ящик  
огромный полуботинок  
со сношенным каблуком.

И все исчезает на свете:  
и люди, и площадь, и небо...  
Есть только вот этот ботинок!

Две щетки, как будто две щуки,  
бросаются с двух сторон.  
— Готово! — стучит он о ящик  
и взгляд переводит на небо,  
доволен собой... А мужчина  
стоит и читает газету.  
И даже не видит его.

Стоит монументом чугунным...  
Но вот он на миг оживает,  
меняет на ящике ногу...  
И скоро уходит, монету  
к подножью в ладонь уронив.

А стрелка часов у аптеки  
еще обежала полкруга.  
И двери контор и конторок  
все чаще глотают людей.  
— Почистим, приятель! — Но мимо,  
все мимо и мимо ботинки,  
похожи уже не на рыбин —  
на вспугнутых выстрелом птиц.

Все больше народу. И площадь  
нескошенным кажется лугом.  
А он ни косынок, ни платьев  
не видит — он видит лишь ноги  
чужие... Но явно при этом  
он чувствует ноги свои.

Усталые, в день свой последний,  
он помнит, они все бежали  
по черному полю, обуты  
в ботинки, раскисшие вдрызг.  
Ах, как же он их накануне



суконкою драил! Комроты  
был строг к подчиненным.  
— Пехоте  
беречь, мол, положено обувь  
не менее, чем автомат!

И были ботинки что надо!  
Не старые были ботинки.  
И дьявольски ловко умели  
прищелкнуть каблук о каблук!

Жестока солдатская память.  
Он полыми смотрит глазами  
на ноги прохожих. Но диво:  
не видит уже их, не слышит...  
Его здесь на площади нет.

Жарища. Почти накалилась  
коляска. И капелька пота  
с седого виска к подбородку  
скатилась... И черная вакса  
растаяла в банке совсем.

## О ТИШИНЕ

Степная речка высохла давно.  
И экскаватор, берегом ступая,  
речушки этой глинистое дно  
И день и ночь без устали копает.  
Сырого грунта гулкие шлепки —  
как взрывы бомб. А на земле, устало  
тяжелые раскинув кулаки,  
спит мастер сменный:  
знать, давно не спал он.  
Как богатырь, лежит он на спине  
в комбинезоне, выцветшем от пота...

Вот так же спят солдаты на войне  
меж двух атак, под рокот пулемета.

Спит человек. И даже видит сны,  
в которых лес, пшеница у дороги...  
А вот случись минута тишины —  
и вскочит он, как воин по тревоге!

## ПЕСНЯ О ДРУГЕ

*Ивану Шилову, кузнецу.*

Мы с тобой и в самом деле  
много соли вместе съели.  
Много вместе на веку  
искурили табаку.  
И, едва подсохнут лужи  
на дорогах, снова я  
по велению старой дружбы  
в наши трогаюсь края.  
Любо в кузнице просторной  
мне, прибыв издалека,  
постоять с тобой у горна,  
прикурить от уголька.  
Расстегнуть рубахи ворот  
и, загнувши рукава  
до локтей, обрушить молот  
на металл — и раз, и два...  
Бить, не выступит покуда  
пот горячий на спине.  
Я ль об этом позабуду?!  
Впрочем, речь не обо мне.

Возле речки, там, где ивы  
ловят в струях голавлей,  
ты идешь неторопливо  
с полным кузовом углей.  
Вспоминается болото...  
В сорок памятном году  
там лежал ты с пулеметом  
в атакующем ряду.  
Бил и бил неумоимо,  
чудом целый и живой  
в пекле том...  
Но взвыла мина  
над твоею головой.  
И, задев верхушку елки,  
полыхнула жаром вниз.  
Глубоко ее осколки  
в тело белое впились.

Эта порция металла  
не была тебе мала.  
Смерть тебя уже пытала —  
вынес. Жизнь свое взяла.

Подлечился — и в дорогу,  
к детям, к женке поспешил.  
И принес к ее порогу,  
кроме праведной души,  
два захватанных, бесплатных  
деревянных костыля,  
да шинель, да дух палатный  
от казенного белья.

Ох, была нелегкой встреча.  
Жгли махорку старики  
да тужили... да весь вечер  
женки плакали в платки.  
Детвора глазела с печки.  
И сидел ты — не герой,  
а всего солдат увечный —  
перед этой детворой.  
Что к чему — ребята знали!  
Убеди-ка их поди,  
что герой ты, коль медали  
не бряцают на груди.  
Спорить с этою ватагой  
было попросту грешно.

(Да, не мало за отвагу  
храбрецов награждено.  
Только, может, больше втрое —  
ведь сражение не парад! —  
незамеченных героев,  
неполученных наград).

Впрочем, нет, не о наградах  
ты печалился в ту ночь:  
шла война и было надо  
чем-то женщинам помочь.  
Так и этак толковали,  
но клонили к одному:  
— Коли можешь, поковал бы, —  
в поле ты нам ни к чему.  
— Что ж, — ответил, — ваша воля.  
Не болела бы нога... —  
А уж так хотелось в поле,  
в рожь высокую, в луга!

Посевная, посевная,  
 небо — чашей голубой.  
 Сторсна моя родная,  
 вновь я встретился с тобой!  
 Опьяненный ветром вешним,  
 тропкой к кузнице иду.  
 — Дядя Ваня, друг сердешный,  
 с добрым утром! Честь труду!

Мы, конечно, оба рады  
 новой встрече: минул год.  
 Нам, пожалуй, сесть бы надо,  
 покурить... Но у ворот  
 трактор, в копоти, в автоле,  
 молчалив и зол на вид,  
 одинокой фарой в поле  
 с нетерпением глядит.  
 И пока его ты чинишь,  
 примеряешь там да тут,  
 словно низшие по чину,  
 кони очереди ждут.

А до кузни утром ранним  
 долетает с белых мхов  
 свадебное бормотанье  
 лирохвостых женихов.  
 — Дядя Ваня, — говорю я, —  
 слышишь, вся земля гудит!  
 Сокрушаясь и горюя:  
 — Слышу, парень, — говорит.  
 Напекаю осторожно:  
 — Может, сбегает на ток?

Он в ответ: — Оно бы можно...  
Сам о том грущу, браток.  
Знаю срок настал. Не рано.  
Да ведь как уйдешь? Дела!  
Да к тому же, парень, рана  
на ноге не зажила.  
Я краснею перед другом  
и, смущен, молчу! Шабаш!  
И висит, набитый туго,  
бесполезно патронташ.

### 3

Целый день над наковальной  
ты вздымаешь молот свой,  
ты, хотя не идеальный  
для меня, а все ж — герой!  
Знатокам иным в угоду  
я бы мог сказать о том,  
что ты пьешь одну лишь воду,  
кипяченую притом.  
И что ты в ладу с культурой.  
И нередко в поздний час  
засыпаешь над брошюрой,  
благо их полно у нас.  
Ходишь в клуб с женою вместе,  
далеко глядишь вперед.

Но бывает, коль по чести,  
чаще все наоборот.  
Не хочу тебя обидеть  
ложью: ты и так хорош.

На порожке кузни сидя,  
я гляжу, как ты куешь.  
Вскинешь молот зло и быстро:  
— Гха! — и влепишь по бруску.

Словно пули, брызжут искры,  
пот струится по виску.  
И летит от наковальни  
вдаль и ввысь, под облака,  
молодое кукованье  
работяги-молотка.  
Варят сталь мартены где-то,  
где-то в космосе, похож  
на далекую планету,  
спутник мчит... А ты куешь!  
Где-то люди, суесловя,  
начиняя ядом ложь,  
бомбы новые готовят  
на тебя... А ты куешь!  
Руки — сильные на диво,  
как кувалды — кулаки.  
Ты куешь — и зреют нивы!  
Ты куешь — гудят станки!  
И луга цветут, и птахи  
гнезда вьют в родном краю...  
Я в твоём широком взмахе  
нрав России узнаю!



## В ДОРОГЕ

Рельсы, перегоны,  
тополиный цвет...  
На плечах погоны —  
труд военных лет.

Еду пятый день я.  
Встреча так близка.  
А в груди сомненья,  
а в груди тоска.

Неужель забыла?  
Столько лет прошло...  
Было, было, было,  
былью поросло.

Нет, тебе я верил  
на войне вдвойне.  
Постучусь — и двери  
ты откроешь мне.

Выбежишь навстречу,  
бросив все дела.

Обниму за плечи  
и пойму: ждала.

Улетай, тревога! —  
тихо говорю.  
И летит дорога  
напрямик в зарю.

## ЧЕРЕМУХА

Г. В.

В ветвях черемухи высокой  
ленивый бродит ветерок.  
Соцветья пахнут вешним соком,  
но не цветут: не вышел срок.  
А солнце выглянет немножко,  
и на черемухе, легки,  
расправив белые ладошки,  
несмело вспыхнут лепестки.  
Один расколется бубенчик,  
другой снежинкой зацветет...

Но климат здешний переменчив.  
Вдруг столбик ртутный упадет,  
потянет сыростью с болота,  
гром прогудит над головой...

И в грудь черемухи с разлета  
ударит ветер верховой.  
Ударит, скомкает, закружит,  
дождем холодным обольет.

А поглядишь: она на стуже  
еще неистойей цветет!  
Она цветет, не гнется книзу,  
а спорит с ветром в высоте.  
Цветет, упрямая, как вызов  
оранжерейной красоте!

## КАК НЕМНОГО СЕРДЦУ НАДО...

Как немного сердцу надо!  
Ничего не говорил,  
Только сел со мною рядом,  
Только сел и закурил.

Закурил, вздохнул глубоко,  
А не высказал — о чем?..  
Только раз плечом широким  
За мое задел плечо.

Вот и все....

Кружились пары.  
Тополь вздрагивал, высок.  
И дымил, и сыпал паренъ  
Искры желтые в песок.

Много раз ложились росы  
С той поры на берегу.  
Но дымок от папиросы  
Все забыть я не могу.

Все мне снится мой желанный!  
Ах, зачем, — клянусь его, —  
Закурил он, бесталанный,  
Возле сердца моего?!

Для чего он сыпал ворох  
Желтых искр?.. Ему ль не знать,  
Что девичье сердце — порох,  
Что огня не миновать!

## ЧТО ТЫ РВЕШЬ СВОЮ ГАРМОНЬ...

Не горят былым огнем  
Мои очи синие.  
Без тебя мне с каждым днем  
Жить невыносимее.

Дрогнут где-нибудь басы! —  
Гляну из окошка я:  
По тропе, через овсы,  
Ты идешь с гармошкой.

Грудь открыта, горяча.  
Кепка на бок съехала...  
От плеча и до плеча  
Гнется синемехая.

И поют, поют, звеня,  
Голоса-бубенчики...  
Что изводишь ты меня,  
Ветер переменчивый?

Что ты рвешь свою гармонию  
До зари, отчаянный?!

Лучше шел бы ты домой,  
Сердце не печалил мне.

Лучше б молча на ремне  
Нес гармонь усталую,  
Чтоб она не пела мне  
Про любовь про старую.



Пойдем со мной Такое расскажу,  
что позабудешь обо всем на свете.  
Лесною сказкою заворю  
и все перед тобою положу,  
лишь только протяни мне руки эти.  
Увидишь ты чудесную страну.  
Там по утрам березы мечут листья  
в прозрачно-голубую вышину.  
Озера пред тобою распахну,  
найду гнездовья птиц и норы лисьи.  
Водою родниковой напою,  
такой водой, что губы обжигает.  
И чуть ли не у мира на краю,  
в лесу, любовь поведаю мою...  
Такой любви еще никто не знает.

## У РЕКИ

(По народным мотивам)

Речка солнышком сверкала,  
а в реке девчонка  
платье мыла-полоскала,  
колотила звонко.  
У девчонки ноги босы,  
руки белые, как белье.  
Ехал парень с сенокоса,  
загляделся на нее.  
Молод был, но не дал маху,  
рядом встал на камень:  
— Постирай мою рубаху  
белыми руками!  
Пред тобой, моя отрада,  
не останусь я в долгу:  
дом построю, если надо,  
у реки на берегу!  
И девчонка разгадала  
парня с полуслова:  
— Сшей мне туфельки, — сказала, —  
из песку речного.  
— Что ж! — потрянул он кудреватой  
разудалой головой. —

Напряди мне только дратвы  
из росинки полевой!  
Рассмеялась звонко: — Ох ты!  
И, лукавя, снова  
загадала: — Сшей мне кофту  
из цветка живого!  
Лепесточек к лепесточку  
не спеша принорови.  
Да когда погонишь строчку,  
матерьяла не порви.  
Согласился парень: — Ладно!  
Только попрошу я  
сослужить мне службу, лада,  
службу небольшую.  
Слышишь, звякает уздечкой,  
бьет копытом мой гнедой.  
Встань на камушек средь речки,  
напои его водой.  
Озорно взлетели брови:  
— Я исполню это,  
если ты мне дом построить  
сможешь до рассвета,  
чтобы окна, чтобы стены —  
все в нем было изо льда!  
Парню море по колено,  
отвечает парень: — Да!  
И встает над грудой платья  
на плоту с ней рядом:  
— Разреши поцеловать мне  
руки твои, лада!  
Обнял девушку за плечи  
и услышал от нее:  
— Разрешаю... до крылечка  
донести мое белье!

## ОСЕНЬ В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ

Сквозь чащу леса поределую,  
один, за ветром по пятам  
пришел вчера я в рощу белую,  
а там — гуляние... А там  
березы водят хороводы:  
октябрь — а им и горя нет!  
И, мать честная, вижу — мода  
и у берез на рыжий цвет,  
и у осин...  
Над всем пространством  
и бронзы отблеск и огня.

Лишь ели с мудрым постоянством,  
темнея, смотрят на меня,  
как будто шепчут: ненадолго...

Но их не слушают, легки,  
березки. Сыплют из подолов  
на плечи елям пятаки  
Сорят налево и направо:  
мол, все равно идут года.

То было рано, было рано,  
а будет поздно — что тогда?!

И принимаются раскачивать  
опять свой белый гибкий стан,  
от чувств пьянея неистраченных,  
пустив по ветру сарафан.

А то, обнявшись, станут парами  
и зябко песню заведут,  
как на деревне девы старые,  
что все еще чего-то ждут...

## НОВОГОДНИЕ ПОЖЕЛАНИЯ

Новый год!  
И вновь пожелания  
сыплешь мне, улыбаясь, ты.  
Сколько нежности в них, внимания,  
понимания, доброты!  
Словно елка в огнях, сегодня я,  
не скрывая ответных чувств,  
весь твоими предновогодними  
пожеланиями свечусь.  
Ах, когда бы из них хоть малая,  
да, хоть малая часть сбылась, —  
беспечальная, небывалая  
для меня бы жизнь началась!  
По причине вышеозначенной,  
так сказать, всем чертям назло,  
я дружил бы весь год с удачами,  
мне б всегда и во всем везло.  
Дни летели б стрижами быстрыми!  
Ты желай мне добра, желай!  
Только после, как елку выставим,  
тех желаний не забывай...

## МЕДВЕДЬ

По лесу, ломая валежины лапами,  
Медведь не крадется — бредет напролом.  
Свое государство! И эти палаты  
Соснового бора, и тот бурелом...  
Захочет — спиною о елку почешется,  
Над тонкой березкою вдоволь потешится:  
Взберется, за волосы схватит, блажной, —  
И ну до земли нагибать ее, нежную...  
Плевать, что сычи у него за спиной  
За это его обзывают невеждою!  
Наскучит — и снова, беспечен, шатается,  
Нет мяса — овсяною кашей питается:  
Насеял мужик возле леса овса.  
Меж тем, во владеньях спокойствия прежнего  
Не стало: зарезали волки лося  
И жаждут попробовать сала медвежьего.  
А он, уповая на силу былинную,  
Все это считает за шалость невинную,  
И ухом — ни тем, ни другим — не ведет.  
От стужи в берлогу зароется, увалень,  
И лапищу чуть не полгода сосет:

Ему все равно, что о нем бы ни думали!  
Сопит в полноздри он... А кто-то украдкой  
Его обложил и под левой лопаткою  
Щекочет уже заостренным колом.  
Как взрыв, разгибает он тело бугристое  
И в рост, разъяренный, идет напролом!  
Но поздно. Грохочут жестокие выстрелы...



## ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА

В ночь с субботы на воскресенье,  
с наступленьем весенних дней,  
от бессонницы нет спасения  
истребителям окуней.

Вот выходят они с шарманками,  
на часы поглядев: пора!

А шарманки у них с приманками,  
приготовленными вчера.

С мотылями да с кашей манною,  
что осталась после ребят,  
да с посудинкою стеклянною,  
разумеется, для себя...

В кузовах — соберутся — тесно им!  
Все — бывалые рыбаки.

Все — себе на уме — профессоры,  
рыбьих слабостей знатоки!

Ах, никем еще не описана  
их дорожная маята!

Сколько раз они до Борисова  
подпирают плечом борта!..

Сыплют крепкие — не до песен им! —  
выраженья, как на войне.

Сто годов уж иной на пенсии,  
а старается наравне...

Наконец, дотолкались. Хмурые —  
«Рыбка, может, давно клюет!» —  
с расчехленными ледобурами  
дружно вывалились на лед.

И по озеру, как под парусом,  
разлетелись — не ждет заря, —  
навалились на буры яростно,  
слова даже не говоря.

И сверлят, и сверлят отдушины,  
словно нанятые, сверлят...

После блеснами самолучшими  
в тех отдушинах шевелят.

Сразу — сидя. Блесна, как ящерка.

Пальцы чуткие ждут «тычка».

После — лежа, достав из ящика  
самолучшего червяка.

На сорожку напасть им хочется,  
чтоб потешиться от души.

А она не клюет... И корчатся  
возле лунки одни ерши.

— Хватит! — кто-то кричит. — Поудили...

И соседа к себе зовет.

И, шарманку открыв, посудину  
неунывную достает.

И садится, сияя, около  
прорубей, к поплавам спиной:

— Настоящий-то жор у окуня  
будет в следующий выходной!

## ВЕСЕЛАЯ РУКА

Ударил сок живительный в оттаявший сучок,  
И лопнул клейкой почечки ядреный кулачок.  
И в небо сине-синее над полою водой  
Не лист березка вскинула — расправила ладонь,  
С прожилками, зеленую, негромкую пока...  
Ах, до чего у дерева веселая рука!  
Шершавая — не нежена! — зубчатое ребро.  
То щедро сыплет на землю дождинок серебро,  
То синь начнет процеживать, то солнечный песок,  
То влепит ветру шалому ладошкой в висок...  
И вся, как откровение, березка на ветру.  
Ее, как друга старого, я за руку беру.  
И лопоча, с доверием — нам вспомнить есть  
о чем! —  
Другую руку дерево кладет мне на плечо.  
Испытывает: крепко ли я на земле стою,  
И свой ли я по-прежнему в березовом краю.

## РУССКИЕ СКАЗКИ

О сказки! О бессмертные творенья,  
кудрлатых предков наших сочиненья,  
на полках не лежавшие вовек!

Кто вас творил?

Доподлинно известно:

русоволосый, живший повсеместно,  
с умом расхожим русский человек.

Творил стоустно, слово выбирал  
правдивое, не мудрствуя лукаво.

Он, как творец, имел на это право.

Он все из жизни брал.

И если врал —

не из тщеславья, жаждая успеха,

и не из лести — участи льстеца

в сем деле он не ведал... Врал для смеха,  
из озорства, для красного словца!

Он был рабом, творец. Его пороли

и били в зубы с маху кулаком,

и в шею гнали, коль просил он воли,

и бранно называли дураком.

А он, дурак, был вовсе не дурак!  
В своем углу, где крепок дух овчинный,  
он хохотал над барами, да так,  
что тухли, в стенку воткнуты, лучины  
и лопались застежки на портах!  
И слово — все, чем он владел пока, —  
рождало эхо. Грохотало громом!  
И поднимался во весь рост над злом он  
в обличи Ивана-дурака.  
Он все умел, дурак, и все он мог!  
И неспроста, играя опояской,  
он ухмылялся в ус: мол, сказка-сказкой,  
а дело-делом... Дайте только срок!

• • •

*«Золото — благородный металл».*

Ты — благородный? К черту враки!  
Ты просто модный, говорю.  
В тебе я шулера во фраке,  
а не джентльмена узнаю.

О, сколько душ ты искалечил!  
О, сколько царств ты разметал!  
Но ты не вечен, нет, не вечен  
в своем величии, металл!

Придет ужо тебе расплата,  
жестокий кончится твой век.  
И, распрямясь, на горы злата  
с улыбкой глянет человек.

И не поймет, под слоем пыли  
отрыв тяжелые куски,  
зачем их прадеды копили  
и запирали под замки.

Поудивляется немного,  
а после — очень может быть —

его — Царя землян и Бога —  
решит на гвозди перелить.

Возьмет он гвоздь, потом без страха  
посмотрит этак свысока  
и вгонит в дерево с размаху  
одним ударом молотка!

Жара. Перехожу речушку вброд,  
притихшую, заглохшую, безрыбную.  
Иду по дну, на камушки не прыгаю...  
А было, помню, все наоборот.  
Характером напористо-крута,  
отведав талой влаги в водополицу,  
мутна до дна, река через околицу  
рвалась куда-то с пеною у рта.  
И куры-дуры хлопали крылом  
в подолы, оглашая берег криками.  
И речка, возомнив себя великою,  
неслась, как говорится, напролом!

А где-то даже в паводок светла,  
в глубинах отразив и небо с тучами,  
и лес, и зори вешние, меж кручами  
действительно великая текла.  
Она качала грузные суда,  
плоты тащила и крутила лопасти,  
она из берегов, не зная робости,  
могуче выходила иногда.



И в ней, борясь с течением, на дне,  
где вечно камни грудятся зеленые,  
ворочались, как мысли затаенные,  
большие рыбы — в самой глубине.

Она не торопила их на мель,  
чтобы услышать крики удивления.  
Исполнена упрямства и терпения,  
она текла за тридевять земель.  
На совесть дело делая свое,  
река текла, широкая и вольная.  
Без славословий. Тем уже довольная,  
что люди воду пили из нее!

## РАЗДУМЬЯ В ПОЛЕТЕ

Расположившись в мягких креслах,  
летим... Смешно сказать: л е т и м!  
Опять приносит стюардесса  
бифштексы нам, и мы едим.  
И запиваем крепким чаем,  
и дым пускаем в небеса.  
И что летим — не замечаем,  
не ощущаем. Чудеса!  
Земля под нами еле-еле  
плывет в разводах облаков...

О господи, как тихо едем!  
Как тут не вспомнить рысаков!  
— Эгей, родимые! — вожжами  
тряхнет ямщик и — понесли,  
тревожно прядая ушами,  
вдоль-поперек самой земли.  
Перевернут — не дай бог, круто  
рванутся в сторону!... А тут  
всего пятнадцать верст в минуту.  
Везут тебя и не везут.

И ни столба, чтобы заметить,  
как ты несешься, ни куста...

Все относительно на свете:  
размеры, скорость, высота.

И ты, поэт, свою вершину  
преодолев, не меряй, брат,  
успех свой собственным аршином,  
не торопись на марш-парад.  
И преждевременно победой  
не упивайся, в рог трубя...  
Такие ль  
прадеды и деды  
вершины брали до тебя?!  
Все относительно на свете...

И все ж приятно свысока,  
прикладываясь к сигарете,  
смотреть вот так на облака —  
не снизу вверх  
букашкой сущей,  
не так, как смотрят на карниз,  
а самовластно, всемогуще  
и потрясенно  
сверху вниз!

## РОССИИ

Нелегкую ты выбрала мне долю —  
дала бумагу мне, перо дала...

О Русь моя, колосья по подолу,  
и синь в глазах, и солнце у чела!

Ты, вечная, моложе век от века!  
Тебе, моя великая страна,  
ни позолота лести человека,  
ни пудра фраз красивых не нужна.

И ты, великодушная на диво,  
казни меня забвеньем, коль солгу...  
И без меня ты можешь быть счастливой—  
я без тебя, Россия, не могу.

## НА РОДИНЕ

Гумна. Мельницы. Школа. — Стоп! Приехали, слазь!  
И замолкла машина, как струна сорвалась.  
Я бросаюсь на землю, надеваю рюкзак  
и иду мимо школы и гляжу — просто так —  
на кобылу гнедую у сельповских ворот,  
ту, что розовый клевер аппетитно жует.  
На девчонку-подростка с мокрой лейкой меж гряд,  
в жарком пламени маков с головы и до пят.  
Я машу ей рукою и чему-то смеюсь.  
Я, наверно, девчонке очень странным кажусь.  
Ну и пусть! Все равно ведь мне себя не унять.  
Что в душе моей — где же ей, зеленой, понять?  
Сердце рвется на части — только гляну окрест.  
Слева — травы и небо, справа — небо и лес.  
Я один перед ними... Облака в вышине.  
Я кричу: — Признаешь ли, край мой, сына во мне?  
И в ответ прошумели сосны, встав во весь рост  
над моей головою: «Ты достаточно ль прост?»  
И сказали мне травы, и спросили цветы:  
«Ты душой не кривил ли? Прямя достаточно ль ты?»  
И дорога, что в детство приглашала войти,

прогудела с тревогой: «Ты не сбился ль с пути?»  
Что сказать мне, ответить? Край мой отчий, гляди:  
вот я весь пред тобою, принимай иль суди!  
Я не холен, не нежен, и не ведом мне страх.  
Мой характер настоян на суровых ветрах.  
Кровь замешана гулом родников и ключей...  
Твой я помыслом каждым! А не твой — так ничей!  
Что б тебе ни грозило — я, твой сын, на посту.  
Только в сердце с тобою я живу и цвету!

В стихах  
Деревенских идиллий  
И сам я терпеть не могу.  
Но вы по покосам бродили,  
Вы спину хоть раз натрудили  
С косой на заречном лугу?  
Вы пили из речки с коленей,  
За быстрым теченьем следя,  
Хоть раз засыпали на сене  
Под вкрадчивый шепот дождя?  
О тихие дождики эти,  
Без луж на дорогах, без гроз!  
Не те, о которых в газете  
Заране дается прогноз.  
Пойдет он — не сразу расслышишь,  
Вдруг капля слетит — замечай:  
Как будто бы пяткой о крышу  
Ударит комар невзначай.  
Помедлит — и снова ударит...  
А рядом начнут топотать  
Четвертый, десятый комарик,

Пятнадцатый... Не сосчитать!  
Лежишь околдован, как сказкой,  
Дождя комариною пляской  
И запахом сена медовым,  
Лежишь, не считая минут,  
Доволен постелью и домом,  
В котором нашел ты уют.  
Скрипит полуночная птица:  
«Спать, спать» — словно «баю-баю».  
Тебе ж еще долго не спится,  
Ты думаешь думу свою  
Про то, что хлеба этим летом  
Добры — колосок к колоску,  
Что лучше, по многим приметам,  
Живется теперь мужику.  
«Спать!» — снова, себя не жалея,  
Надсадно скрипит коростель.  
И веки твои тяжелеют.  
Все глубже и мягче постель.  
Ты валишься в сон, словно в воду,  
Подумав, что завтра опять  
Хорошая будет погода  
И надо зарю не проспять.



## СТРОКА МОЯ

Колхозный радиоузел. Черемуха у окна.  
Дерёвенка в два посада. И вечер. И тишина.  
Я должен пред микрофоном стихи прочитать сейчас.  
Листаю страницы книжки, волнуясь, как в первый раз.  
Не область меня услышит и даже не весь район —  
Всего деревень пятнадцать, в лесах с четырех сторон.  
Но в каждой из них я, может, не раз ступал на крыльцо.  
И многих — не понаслышке — я знаю давно в лицо.  
Вернулись, должно быть, с поля они с полчаса назад,  
И руки их на коленях, не мыты еще, лежат.  
И зноем, и ветром пахнут, и черной землей полос,  
Лежат, расчесать не в силах прилипших ко лбу волос.  
Я вижу их, землеробов. Разувшись через порог,  
Они к самоварам сели неспешно: всему свой срок.  
И пьют, наливая в блюдца, и лбы рушниками трут...  
А время идет: осталось не более трех минут.  
Что мне прочитать такое, чтоб в избу вошел мой стих,  
Как запах от каравая, что корочкою хрустит.  
Вошел, как сама работа, как гул посевной страды,  
Как женщина входит в избу с ведром ключевой воды.

Как добрый сосед заходит по делу, а то и нет.  
И в доме по-русски просто кивают ему в ответ.  
Его угощают хлебом, ему наливают чай...  
Но щелкнул выключатель. Время.  
Строка моя, выручай!

## ВЫСТУПАЕМ

За окном устало стали краны,  
стрелы положив на облака...  
Выступаем. В клубе, на окраине  
нашего родного городка.  
Волны настороженного гула  
плещутся о сцену тяжело...  
Но встает решительно со стула  
друг мой, будто прыгает в седло.  
Распрявился — стихли разговоры.  
Вдруг вперед подался он слегка  
и вонзил лирические шпоры  
скакуну горячему в бока.  
Только шум зеленого прибоя,  
только вскрики ласточек в зарю...  
Нелегко мне спорить, друг, с тобою,  
но — да будет так! — я говорю.  
И, конечно, так оно и будет.  
И не ради места под луной  
этот спор («Ведь мы свои же люди!»)  
И пускай в нас зависти не будят  
маршальские жезлы за спиной.

Пусть они нас к подвигу торопят,  
за который нам воздаст свое  
не Европа сразу — не Европа! —  
а Россия. Мы сыны ее!

...А сейчас пока, от ряда к ряду,  
в зале непарадном, широки,  
нам и приговором и наградой  
катятся тяжелые хлопки.

Да на первом, глядя в наши лица,  
кончиком сурового платка  
утирает слезы крановщица,  
что с войны живет без мужика.

Значит, есть чего-то в строчках звонких!

И плевать нам, в общем, тыщу раз,  
что в юбчонках узеньких девчонки  
под конец не спрашивают нас:  
мол, женаты мы иль не женаты?..

И не ждут у выхода толпой.

Нет, мы не женаты! Мы — солдаты.  
Нам сегодня — бой и завтра — бой!

## ВЕСЕННИЙ БАЗАР

Люблю заглянуть на весенний базар.  
Там — вплоть до последнего ряда —  
отличный товар, ходовой товар,  
а имя товару — р а с с а д а.  
Рассада? А может, отрада? Да, да!  
А может, надежда?  
Я вежлив:  
— Отрады, — прошу, — положите сюда.  
И горсть, если можно, надежды.

Дородная тетя — весенний загар  
у ней на щеках под платочком, —  
смеясь, подает мне веселый товар —  
две горсти зеленых росточков.  
И вновь в чернозем окунает до дна  
ладони... И можно ручаться:  
надежды, которые людям она  
сейчас раздает, возвратятся  
под осень сюда... И прогнутся борта  
машин, что придут с огорода.

У тети дородной в глазах доброта,  
и вера — в глазах у народа.  
А рядом, пуская махорочный дым,  
и мрачен, и жалок, и скучен,  
заезжий стоит гражданин, а пред ним  
поджаренных семечек куча.  
— Берите! — басит он. — Кому завернуть?  
О как ты смешен, человек!  
Вот осень придет — и тебя помянуть  
нам будет решительно нечем...

Читаю книжицу изящную —  
аж скулы ломит: не могу!  
Как будто на воду стоячую  
гляжу, присев на берегу.

Молчит вода, забита тиной.  
Лишь иногда пузырь всплывет,  
да за букашкой, противная,  
лягушка с кочки сиганет —  
и снова тишь...

Измучен дремою,  
встаю, не дочитав листка.  
И слово русское, ядреное  
само слетает с языка.

Ого, словцо!  
Острее лезвия,  
оно сверкнуло над прудом,  
как лаконичная рецензия,  
и очень точная притом.

И вновь поверилось, поверилось,  
что есть и реки и моря.  
И вновь уверенность, уверенность  
рванула на борт якоря!

И значит — в путь!  
И значит — в плаванье!  
Наперекор ветрам — туда,  
где в борт высокий — это главное! —  
живая плещется вода!



На костореза тонкую работу,  
Постичь желая суть ее, гляжу...  
С трудом поэта родственное что-то  
В работе костореза нахожу.  
Он трудится и долго и упорно,  
И под резцом, едва еще видны,  
Вдруг оживают кружевом узорным  
И были и преданья старины.  
Но, прежде чем созданием искусства  
Обломок кости станет, сколько раз  
Угрюмый косторез, доверясь чувству,  
Его резцом коснется, шуря глаз!  
И все ж, дивясь терпенью костореза,  
Я с завистью гляжу на кузнеца,  
Чей грубый труд — поэзия железа —  
В тяжелых взмахах и в поту лица...  
Вот белый брус из пышущего горна  
Кузнец рывком под молот подает  
И сталь тугую, ставшую покорной,  
Как будто глину, комкает и гнет.  
Стремительны, уверенны и точны  
Удары кузнеца... Твердеет сталь!

И вот уже, сработанная прочно,  
Звеня, на землю падает деталь.  
И трудно это кажется и просто..  
Хотел бы я постигнуть до конца  
И терпеливость резчика по кости  
И вдохновенье кузнеца!





# ОКНАМИ НА ЗАРЮ

Поэма

*Памяти отца — землепашца и солдата.*

1



ет, не форточку,  
раму бы высадить в пору —  
вот какая в квартире теперь духота!  
— Собирайся, сынок! И поедем за город,  
навестим наконец-то родные места.  
Собирайся! В рюкзак — только блесны да ножик...  
Масло? К черту его! Колбаса? Не нужна!  
Есть корова у тетки. И если поможем  
ей поставить стожок, не обидит сна.  
И, пожалуйста, мать, не держи человека.  
Пусть поедет! Пора ему знать наконец,  
что заглавной фигурой у хлеба не пекарь,  
не короной увенчанный продавец.  
Ну, а кто — мы о том

потолкуем особо...

А сейчас проводи-ка мужчин за порог.  
Два билета! И мчит нас бывалый автобус,  
так сказать, с ветерком за речной поворот!  
Низко стелются травы. Штормует дорога.  
Мельтешат на щитах — только глянешь вперед —

разноцветные цифры... А мало ли, много означают те цифры, сам черт не поймет. Да и трудно: пылит, пролетая, машина. Но гляжу я, гляжу... Мне все кажется: вот перелесок проскочим, а там — «До Берлина сорок пять километров осталось. Вперед!» Сорок пять до Победы... А сколько же, трудных, позади их осталось! Считай — не сочтешь. Сколько раз поднималась и падала грудью на горячую землю высокая рожь! Нет, дорога в деревню — не к тылу дорога. Нет, деревня сегодня — не тишь да покой. Как от дота до дота, от стога до стога здесь бескровный, но яростный катится бой! Из атаки в атаку — не падают, держатся косари. Раскален добела небосклон. Бой победно гремит! Возвращаются беженцы и срывают прогнившие доски с окон. И стучат молотки здесь у каждого дома, и моторы дымят, и в ходу топоры... Вот что значит деревня! А вы мне: солома, да коровы еще, да еще комары... Здесь в безмолвных озерах свирепствуют щуки, обжирается спелой малиной медведь. Взять корзину бы в руки! Но заняты руки: осыпается рожь. И пшеница, как медь. И «скрипит», припотев, допотопная бабка на льняной полосе. Как-никак, человек... Вот что значит деревня! А вы мне: рыбалка, да с малиною чай, да на сене ночлег... Здесь по три да четыре избы на посадке, здесь по десять девчонок на парня в бригаде.

Здесь проблема разлуки да скуки сейчас  
есть одна из великих проблем для девчат.  
И не диво. До клуба порой от избушки  
не дострелишь из пушки: и лес и ручей...  
Вот что значит деревня!

А вы мне: частушки,  
да любовные вздохи, да скрип дергачей...  
Нету старой деревни! Кого нам обманывать?!

Моргунка тоже нет. Уработался. Спит.  
Нет! И строит деревня сегодня все заново:  
избы, клубы, дворы, психологию, быт.  
Эта стройка невидная — жметя к лесам она, —  
но великая тоже! А может, в ряду  
тех, великих, она

есть великая самая!

Понимаете, что я имею в виду?  
И нужны ей сегодня не только прорабы,  
да проекты, да планы — ей руки нужны,  
чтоб заделать хотя бы... вот эти ухабы  
вот такой ширины, вот такой глубины.  
Руки, да! Молодые притом и влюбленные  
в эту стройку...

И к черту «небось» да «авось»!  
Вот она! Вся, как есть, золотая, зеленая,  
вся пропахшая стружкой да медом насквозь!  
Это стройка, скажу я вам! Это картина!  
А простор-то какой! Даже робость берет.  
Мачты полем шагают. Бушует плотина.  
Белым прочерком в небе над ней самолет.  
Высоко-высоко! Старичок на подводе  
бороденку задрал, приподнял козырек...  
— Эй, шофер, тормози! Мы приехали вроде.  
Вот черемуха наша... и дом наш, сынок.

В этом доме я знал все на память, на ощупь:  
кухня, сени, четыре ступеньки крыльца...

Скинь-ка шапку, малыш мой!

Ты видишь воочью,

так сказать, родовое поместье отца.

Ни кола, ни двора. Лопухи да крапива.

Сядь на этот вот холмик — тут печка была.

А вот тут, от крыльца, начиналась тропинка,

та, что первый мой шаг на себя приняла.

Сядь. Мне многое надо припомнить...

Не весь он,  
пепел, что под ногами, остыл. Хоть не раз  
здесь метели гудели и дождь куролесил, —  
не остыл, не развеялся он, не погас.

До скончания века он — пепел тот — с нами...

Что же вспомнить сейчас, что тебе рассказать?

.. Утро в нашей избе начиналось блинами.

С пылу — прямо на стол! Успевай подбирать!

Мама рада была, коль мы ели в охоту:

— Каковы на еду, таковы на работу!

Понимала, что нам не руками махать

уготована доля, а землю пахать.

И уже приучала.

Впервые бороздку  
проложил я, наверное, лет десяти.

В тот же год я имел уже косу по росту,

не сбиваясь, умел в пять цепов молотить.

Топотали цепи на снопах, как по нотам.

Улыбался отец, наставляя сына:

— Коли взялся работать, работай до пота,

а без пота работать — валять дурака!

Мол, земля лежебоку зазря не одарит,  
мол, ее не обманешь ты, как ни умен.  
— И пеняй на себя, коли пусто в амбаре!—  
ударяя цепом, приговаривал он.  
Ну, и верно: работал он с пылом и жаром.  
Столько вдруг привалило земли мужику!  
И недаром с иконами рядом, недаром  
он портрет Ильича прилепил к косяку.  
Посветлело в душе. Были праздником будни.  
А в селе про колхозы ходили слушки.  
Да не верил: мол, это когда еще будет,  
а сейчас надо сеять да жать, мужики.  
Он из тех был, отец мой, кто знал себе цену,  
кто в удаче на свой лишь хребет уповал.  
Летом дом подрубил — вставил в каждую стену  
по четыре бревна, перекрыл сеновал,  
хлев приделал к двору, а потом у дороги  
начал строить овин...

А ему нет да нет:

— Понапрасну, старатель, мол, силушку гробишь,  
все колхозное будет! — пророчил сосед.  
— Что ж, — отвечивал, — начал, так надо поставить  
А колхоз... Поглядим! Коли дело пойдет,  
Я, как старый журавль, не отстану от стаи...  
Ну, готовься тогда. Недалек перелет!  
И сбывалось пророчество, было похоже.  
Наезжал из райцентра Кирюха-матрос,  
приходила газета, и та все про то же  
толковала деревне моей — про колхоз.  
Повторяла одно через каждую строчку:  
не уйти мужикам от нужды в одиночку.  
Сами знали, что так. Понимали, что надо,  
а решиться... Поди-ка, решишь. Маята!  
Там, где сам передом, — баба глупая задом...  
Все ж осмелились!



Первой пошла беднота.  
Добровольно! На страх мироеду Хмырову!  
Вот она, революция! Хлеб закопал  
толстосум, подпалил самолично хоромы,  
постонал: подождгли, мол, его... И пропал.  
А в деревне — нужна стопроцентная сводка —  
за полночную сходкою новая сходка  
Поначалу без баб — так велось искони, —  
а потом, чуть прослышат, бегут и они.  
Соберутся — потеха! Что крику! Что реву!  
А о чем — не опишешь сегодня пером.  
Жалко было коня, жалко было корову,  
и саней было жаль — хоть руби топором!  
Как же вынести было, к примеру, такое:  
запряжет кто-нибудь не спросясь — и айда!  
Ведь мужик — скопидом. Он по-своему скроен.  
Но... такие орлы налетали сюда,  
что и слышать о том не хотели, куда там!  
Не идешь — подкулачник, не хочешь — кулак.  
И тряхнут для острастки железным мандатом:  
— Чтобы на сто процентов, не меньше! Вот так!  
Кто-то вслух:  
— Не распаривши, дуги-то гнете.  
И вообще мы не против... а все ж подождем.  
Но Кирюха-матрос — он учился на флоте  
«уговаривать» контру — стоял на своем.  
Сто процентов — и ша! И смолкали, как рыбы,  
мужички на скамьях. «Агитацию» ту  
после стали уже называть «перегибом».  
А тогда, брат, она подводила черту  
всем дебатам.  
И бычились пахари лбами  
в темных избах, и жгли до рассвета табак.  
Непростая задача: минуя предбанник,  
прямо в баню попасть. Было все-таки так.

Председателем первым избрали Степана.  
 Безлошадника. Страсть был какой боевой!  
 Вел дела неказисто. Зато неустанно  
 раздувал на планете пожар мировой.  
 Говорун был, частоха! Начнет о навозе,  
 а закончит пожаром... И руку — вперед!  
 Грамотеев-то было не густо в колхозе,  
 и народ — что поделаешь — слушал народ.  
 Как-никак, голова! Первый в доме хозяин.  
 Мужики ко всему относились всерьез.  
 А работали как! На миру-то нельзя ведь  
 осрамиться... Бывало, придет сенокос —  
 стар и мал на лугах. Позабыты постели.  
 Бабы, как на гульбе, — сарафаны пестры.  
 И звенели малиновым звоном, звенели  
 наостренные косы, дымились костры.  
 Упревала артельная каша на ужин.  
 И ребята — просторно у них в шалаше —  
 на сенце молодом целовали подружек.  
 Жизнь такая ребятам была по душе.  
 Да и старшим, пожалуй...

Все было в новинку.

Отличился — почет, худо сделал — позор.  
 В стенгазете, бывало, такую картинку  
 поместят, словно выстрелят в совесть, в упор!  
 Новь свои утверждала в деревне законы.  
 Нету рая на небе — и в щепки иконы!  
 Неучение — тьма, а учение — свет,  
 и за партой рядком с молодайками — дед!  
 И открыты детясли — работайте, жинки!  
 И всем праздникам праздник отныне — дожинки.  
 Пир, как есть, на весь мир!

Чуть не сорок столов.

Припасали еду семь да семь поваров.  
Под навесом берез, на лужочке зеленом,  
угощали с двух рук, подносили с поклоном,  
что смогли наварить, что успели напечь...  
«Голова» выдавал громобойную речь:  
мол, сдадим! Не подгадим районную сводку!  
Мол, заткнем «мировой буржуазии» глотку  
полновесным, ударным колхозным мешком!  
Только так! — И о стол ударял кулаком.  
И чего-то еще о кулацком охвостье  
говорил. И косил на районного гостя  
взгляд...

И видел, что речью доволен был гость.  
И гремели ладони, и пиво лилось.  
И кому-то гармонь сумасшедше и яр  
разминала суставы. И стыла еда...  
Пели. Жгли самосад. Не жалели о старом.  
Дескать, дружно — не грузно, а порознь — беда!

О погожее лето далекого года!  
Принялся и расцвел в это лето цветок  
новой жизни. И каждый его лепесток  
был тогда выражением веры народа.  
Веры в то, что отныне извечному страху  
пред нуждой  
не селиться уже росомарой  
по углам да щелям скособоченных хат,  
что беде уже нету дороги назад!  
И какие же были нужны цветоводы,  
чтоб ни яд сорняков, ни капризы погоды  
ни пригнуть, ни сломать тот цветок не смогли,  
чтобы рос, набирался он сил от земли.  
А Степан... Не таким был Степан человеком.  
Он не то что в колхозе — в своем же дому,

что куда положил да закинул — вовеки не припомнит, бывало .. А вышло ему помнить все и за всех.

И хотел он — да где там... Активист — он всегда был «вот так загружен!», и при всякой прорухе на «занятость» эту намекал мужикам недвусмысленно он. И, наверно, по этой причине в артели мужики, завершая не третий ли год, без почтения уже накладными вертели и не в поле глядели, а в свой огород.

#### 4

Что же после? Еще пролетело два года. Крепко врезался в память мне этот денек. Мать выносит горшки. У крылечка подвода. Младший брат мой ликует: ему невдомек, что не к бабушке в гости сегодня мы едем... Грустно смотрят на нашу работу соседи. И ребята. Особенно Надька, Надеха... Мы всю зиму сидели за партией одной. — До свиданья! — сказал я. А Надя со вздохом за косичку взялась, повернулась спиной и, помедлив немного, схватила за рѣку одноклассника Кузю — и вон со двора! Эх, и мне бы... Но все приближало разлуку: и растерянность мамы, и стук топора... Вот уж поднят сундук. Вот закрыты замки. Вот уж гвозди вгоняет отец в косяки... Слепнет дом. Нет, отец, на него не в обиде. Просто хочет, чтоб он совершенно не видел, как мы тронемся с места, чтоб дом наш не мог вслед нам, как человек, бросить горький упрек.

Было солнечно, вешне. А мы уезжали.  
Хмурясь, дергал отец поминутно вожжами.  
У него от земли под ногтями черно.  
У него на душе, как в подвале, темно.

Споро мерин идет. Мы с брательником с воза,  
озираясь, глядим на владенья колхоза.  
Тут вот батька пахал. Замахнется кнутом:  
— Ну ты, черт! — И земля из-под плуга винтом!  
Там вон дергала лен наша мама. Бывало,  
не присядет поесть: ей все мало, все мало!  
И писал бригадир, почесав в голове,  
ей под вечер не палочку в книжку, а две...  
Ликовала она! А вон там, за рекою,  
батька подсеки жег. И случилось такое:  
Вспыхнул жарко валежник. И вдруг из огня  
поднялась, испугав не на шутку меня, —  
кто б ты думал? — тетерка.

Ширяя крылами  
дым горячий, она пролетела над нами.  
Батька глянул, жалея, ей вслед тяжело  
и промолвил: — С гнезда сорвалась. Припекло.  
И застыл, пораженный. И долго глядел он  
на огонь, навалившись на кол обгорелый...  
— А вон там... — вдруг припомнил еще что-то брат,  
приглашая меня оглянуться назад. —  
Там... — И смолк, удивлен: на вершине увала,  
от телеги отстав, наша мама стояла.  
К чужедальной дороге стояла спиной,  
гсреванно прощалась с родной стороной.

Оторвало от берега льдину-судьбину,  
понесло, потащило, крутя, на чужбину,  
мимо детства, девичества, бабьей поры;  
мимо нив, что не очень бывали добры,

мимо круч горевых, островочков надежд,  
и гуляний и песен, что пелись допреж.  
Что случилось — едва ли она понимала.  
Не бывало такого в роду, не бывало!  
Как же так: при земле

уезжать от земли?

«Передумай!» — давали совет журавли.  
«Ведь не поздно еще! — стрекотали сороки.  
Возвращайся скорей!» — убеждали грачи.  
И сжималось сердечко от этой мороки:  
что же, господи, делать-то ей, научи!

## 5

А страна избяная

и гордо и просто

в те года расставалась решительно с прошлым.  
Медногорлые громы снимала с церковей,  
на каблук подковаться желая скорей.  
Дорывала последние лапти без горя  
и сама, без подачек чужих из-за моря,  
там и тут, подтянувши потуже ремень,  
возводила цеха на виду деревень.  
И была ей любей не рубаха под пояс,  
а рабочая блуза, железная стать.  
Комсомольск-на-Амуре и Северный полюс —  
все ей надо постичь, все ей надо достать.  
Выше! Дальше! И не было позой геройство.  
О, она понимала, круша и творя,  
сколько взглядов — и добрых, и злобных,  
любопытных

и просто

за нею следят с Октября!

И понятною гордостью, первой на свете,  
молодая, она увлеченно жила.  
За себя да еще за идею в ответе  
на такие она замахнулась дела!..  
И дошли до села громовые раскаты  
этих дел, и взорвали извечную сонь.  
Что там плуг, борона! Что овины да хаты,  
коли есть Днепрогэс!  
И уже под гармонь  
пареньки из залесных халуп да заречных —  
не бывало такого еще на веку! —  
на рабочих окраинах «Песню о встречном»  
запевали, спеша на завод по гудку.  
А за ними, наметясь всерьез в инженеры,  
присобачив замки к сундучкам из фанеры,  
уезжали учиться совсем сорванцы...  
И не смели перечить ребятам отцы.  
Где там! С радостью даже ребят провожали.  
И пахали, и сеяли после, и жали  
за себя, за сынов... И приятную весть  
получив из доселе неслыханных мест,  
улыбались в усы: хорошо, мол, сыны!  
А сыны не жалели себя для страны!  
А сыны с деревенской медвежьей ухваткой  
грохотали киркою, играли лопаткой,  
трамбовали бетон в основаниях домен...  
И, пожалуй, немножко грустили о доме,  
где все глуше, хлебнувши расстанной беды,  
вечерами звенели гармошек лады.  
И безрадостней стали зимой посиделки.  
Примирились с изменами старые девки.  
Кавалеры теперь приезжали в село  
только летом, чтоб выйти — и грудь наголо,  
чтобы, пыль подметая штаниной широкой,

поразить деревенщину модным фокстротом,  
опустевшую избу продать на дрова  
и уехать, сказав «До свиданья» на «а»...

## 6

Я позднее и сам приезжал. Я и сам  
белозерского «ленчика» в церкви плясал.  
И под куполом самым, забыв про грехи,  
декламировал с жаром чужие стихи!  
И особенно хлестко  
про паспорт серпастый.  
Ритм железный скреплял я движеньем руки,  
доставал из штанины свой паспорт и хвастал,  
хвастал так, что глотали слюну мужики.  
Приходили теперь и они вечерами  
в клуб кино посмотреть, от работы устав.  
Богохульно звенела гармоника в храме  
до полночи, под галочий гвалт на крестах.  
Их не сразу свернули: все дня не хватало.

Я любил посмотреть с колокольни окрест.  
Подужалась деревня: овинов не стало  
и заметно к посадам придвинулся лес.  
И, поскольку они поредели, посадки,  
все трудней управляются с полем бригады...  
Мужики же, глядишь, задирают носы,  
потому как у Федора — летчиком сын,  
у Ивана — врачом, у Петра — капитаном...  
Как приедут домой, как потрянут капиталом —  
полдеревни в хмелю! Крепок хмель даровой:  
ни рукой шевельнуть, ни потрянуть головой.  
Восседает под образом, ширясь плечами,  
дорогой гостенек: «Как патрет! Как начальник!»  
Не чужой — и не свой уже в отчем дому...



И стыдятся девчата-доярки ему  
протянуть пятерню: не бела, не мягка  
и не в меру, к тому же еще, велика.  
Да и сверстники, смотришь, пред гостем робеют.  
Похвалиться собой — и подумать не смеют!  
И не знают, почтения к гостю полны,  
настоящей себе — настоящей! — цены.

Да и то: революции нашей от роду  
только двадцать исполнилось к этому году.  
И не все, на беду, понимали вполне,  
Что достоин с Героем любимым наравне  
встать и тот, кто к земле пуповиной прирос,  
кто великою верою верил в колхоз!  
Верил так же, как верят влюбленные в счастье,  
потому что он был выражением власти,  
за которую — это запомнят века —  
щедро пролита также и кровь мужика!  
Верил он,  
хоть ему причитались в излишке  
за работу порой только палочки в книжке,  
и хватало ему этой веры, хватало,  
поплевав на ладони, начать все сначала.  
Не пропала та вера в душе его, к слову,  
и в ту пору, хоть память осталась горька,  
в ту минуту, когда в «рукавицах ежовых»  
чьи-то руки «ласкали» его, мужика.  
Не пропала! Тому подтверждением веским  
грозовая военная наша страда!  
Сколько вынес да вытерпел люд деревенский,  
сколько сил положил для победы тогда!  
Он не помнил обиды, суровый оратай.  
Он одно понимал: надо гнать супостата!

И не ныл, не стонал, не искал виноватых,  
а работал! За мужа. За сына. За брата.  
Отдавал он войне все, что поле рожало —  
до зерна, до куска... И солдаты, бывало,  
замечали: не солнцем, не летней грозой  
пах тот хлебушек трудный, а горькой слезой.  
Кто растил-то его? Ребятишки да деда,  
да солдатские мамы, да женки солдат..  
О, как долгод был, пахарь, твой путь до победы!  
Даже страшно сейчас оглянуться назад.  
И когда отгремели за Одером пушки  
и остыл, разряженный последним, свинец,  
человек, говоривший с акцентом по-русски,  
похвалил за терпенье тебя, наконец.

## 7

Дверь открыла и — ах! И рукой по подолу:  
— Да ужель это вы? — И сама не сзоя,  
привечая гостей, закружилась по дому  
Маремьяна Васильевна — тетка моя.  
Береженую скатерть на стол! И за чашки.  
Миг один — и уже водружен самовар.  
Нараспашку окно. Нараспашку рубашки.  
Пляшут зайчики в блюдцах. Над блюдцами — пар.  
Я гляжу: как просторно, как прибрано в доме.  
Уж не восемь ли лет все одна да одна  
Маремьяна Васильевна — горюшко вдове —  
проживает. И в том не виновата она.  
Детки все разлетелись. А муж ее — Яков  
и вернулся домой, да израненный весь.  
Но не сдался! Остатнюю силушку на кон  
всю поставил: стонать, мол, велика ли честь!

На собраньи каком-нибудь, припоминаю,  
кривда губы кусала до крови при нем!  
— Пусть я, — скажет бывало, — огонь вызываю  
на себя. Ничего... Я бывал под огнем!  
и начнет «выкладать».

Был похож он на дерево,  
расщепленное молнией. Стоя оно  
умирало... Но твердо в бессмертие верило,  
молодыми побегами окружено!  
Было Якову трудно, но бился, не охал!  
Потому, даже в те непогожие дни,  
проросла его вера Кузьмой и Надёхой —  
как и сам он — партийцами стали они!  
Переняли от Якова, став коммунистами,  
неунывность его, и его прямоту,  
и его молодую в работе неистовость,  
и безмерную к людям его доброту.  
Умер вскорости он. Ненадолго хватило.  
Умер Яков — едва ль не последний мужик  
из немногих, вернулись которые было...  
Умер, руку одну на живот положив.  
Я вздыхаю. И памятью горькой растроган,  
достаю «Беломор», придвигаюсь к окну...  
Тетка мне: — Да кури... Мужиком хоть немного  
будет пахнуть в избе-то! Кури не одну.  
Сам-то вон как дымил... И замолкла. И прямо,  
не мигая, глядела с минуту она...  
Отдыхать на сарай отвела нас: жара, мол,  
да и мухи в избе-то... А тут — тишина.  
Прикорнул у плеча и заснул мой мальчонка.  
Гром проухал вдали, словно кто по бочонку  
кулаком постучал... Собиралась гроза.  
Ну а мне не спалось.  
Я все думал о чем-то...

И отчетливо теткинны видел глаза,  
в пустоту устремленные... Явственно слышал  
скорбный голос ее: «Да кури ты, кури».  
Нерешительно дождик прошелся по крыше.  
Вновь петух прокричал... Я не спал до зари.  
Под шуршанье дождя я опять, через годы,  
слышал стук топора, скрип тяжелой подводы,  
отъезжавшей в тот солнечный день от крыльца...  
В эту ночь очень мне не хватало отца.

8

...Да, он бросил село в ту весну.  
И за плугом  
не бывал уже больше. А вышло вот так:  
дом сожгли постояльцы, и сам он под Лугой  
был убит в сорок первом в одной из атак.  
А хотел он сюда возвратиться обратно.  
Потому заколоченный дом и берег.  
Вы простите, поля, мужика и солдата,  
что для вас

рук своих уберечь он не смог.  
Очень их не хватает сегодня.... А впрочем,  
пред тобою, земля, столько ж он виноват,  
сколько ты виновата, родимая, в том, что  
он ушел и уже не вернулся назад.  
Он ли, пахарь, тебя разлюбил, обленясь,  
ты ль над ним вековую утратила власть —  
неизвестно. Но ясно:

какая-то жила  
между ним и тобой в ту весну порвалась.  
Слишком много на эту неслабую жилу  
было в те времена удалого нажиму.  
Кто картошку едал — все брались мужика  
просвещать, наставлять и толкать под бока.

И пахать-то его обучали, и сеять,  
понукая при этом его, ротозея...  
И добро б агрономы, а то «знатоки»  
из конторы «Утиль», например, из музея...  
То и дело в деревню вострят башмаки!  
Пешка пешкой иной ведь в масштабах конторы,  
а приехал в колхоз — полководец Суворов!  
Докучаев! Да что там — Лысенко Трофим!!!  
Как насыдет — попробуй, прикинься глухим...  
Трактор стал — и Суворовы все тут как тут!  
Ну а толку-то что? Только пашню умнут...  
А могли б, животы надорвать не рискуя,  
трактор тот на руках отнести в мастерскую!  
Но они тракториста берут в оборот.  
Кто-то сводкой тряхнет, кто-то вынет блокнот.  
Кто-то болтик иль гайку какую для вида  
тронет пальцем и вытрет его о платок...  
И туманит глаза тракториста обида:  
— Не марались бы вы... Отступили б чуток.  
Да и то:  
хлебороб — он же издавна знает:  
мать — сырая земля не от сводок рождает —  
от любви неизменной! В ответ на любовь  
отдает она людям зеленую кровь!  
И да здравствует эта любовь! Лишь она  
украшает колосьями землю. Одна!

9

Сенокосит деревня. Уставшие за день,  
вновь блаженствуем мы в деревенском раю.  
Теткин дом — он четвертым стоял на посадке,  
а сегодня он первым стоит, на краю.  
А сегодня за теткиным домом — околица...  
И не первое лето, с тоски без ума,

там, где раньше стояли другие дома,  
синим далям по-вдовьи черемухи молятся  
И глядят на дорогу и верят, неистовы,  
что к весне мужики возвратятся сюда,  
наострят топоры, срубят избы смолистые,  
и запахнет дымком, как в былые года...

Ах, черемухи! Лучше вам с долею трудною  
примириться: железно ступает страна.  
И не будет деревня такой многолюдною,  
говорю вам, не будет — не те времена.  
Подросли молодые черемухи в селах,  
сыплют звезды в траву — что им ваша печаль!  
Не в лаптях мужикам — трактористам веселым  
всю свою красоту раздарить им не жаль!  
Понимают, вздымая пахучее облако  
в вышину, где гудят возле крыш провода,  
что деревня покуда стара только обликом,  
а душой, как они, молодым-молода!  
Но и все ж мне близка и понятна, деревья,  
ваша грусть. Я и сам до сих — не солгу —  
к той тележной, бедовой и горькой деревне  
очень нежные чувства в душе берегу.  
Не она ли — она меня, малого, скоро  
понимать научила — не вытью одной —  
как он, хлебушко-батюшка, пахарю дорог  
и как сладок, поскольку он хлеб трудовой.  
У нее я учился премудростям чести,  
прямоте: да — так да,

или нег — так уж нет!

Благодарен я ей, деревушке в залесье,  
и за сказки ее, и за песни... Ах, песни!  
Я люблю их и помню с мальчишеских лет.  
То печальные, как завывание вьюги,  
от которого — знаете? — дрожь по спине.

То веселые очень, как ливень в округе,  
из-под радуги ливень. И гром в вышине!  
Ох, как гнулись под песенки те половицы!  
Русский хмель — он такой: коли бросило в круг,  
надо пол проломить или об пол разбиться,  
или высечь огонь каблуком о каблук!  
Руки в стороны: — Эх! Ходуном вся изба,  
словно в этой избе не гульба — молотьба.  
Не умела деревня — характерец чертов! —  
ни в полсил работнуть ни в полгорла хлебнуть..  
Я вас помню, гулянки, я знал вас, вечерки,  
знал... И словом худым не хочу помянуть.  
Худо, что ли, как кони летели по кругу,  
пронося, словно радугу, полем дугу?!  
Не могу я, по памяти, словно по лугу  
проходя, наступать на цветы не могу!  
Понимаю, что к старому нету возврата,  
отзвенели твои бубенцы навсегда,  
деревушка... Но так ли уж ты виновата,  
чтобы все зачеркнуть, чем жила ты тогда?!  
Много дикости было? Да, было. Допустим...  
Но и все же, какой бы она ни была,  
та деревня, понятие гордое: русский! —  
в полной мере она осознать мне дала!  
Да, она! Хоть об этом ее не просил я.  
Это после пришло... И когда я кричу,  
что деревню люблю — это значит, Россия,  
я тебе в этом чувстве признаться хочу!  
Ты иная сегодня. Ты в космос врубилась...  
Но и громом ракетным встречая свой день,  
я хотел бы, Россия, чтоб ты не забыла,  
что когда-то

ты вся началась с деревень.

Мы гостюем у тетки уже две недели.  
 Молока — хоть залейся. И кашу не делим:  
 и на утро горшок, и на вечер горшок —  
 мы поставили все-таки тетке стожок!  
 Невелик он — а все же к «процентам» подмога.  
 Так уж рада она! Мол, надейся на бога,  
 ну, а сам... И потуже затянет платок.  
 Тетка — баба не промах. Гроза! Кипяток!  
 По земле — никому ничего не должна —  
 по-хозяйски ступает сегодня она.  
 И касается всякое дело ее,  
 и суждение о деле у тетки свое.  
 Как с Надехой — моею ровесницей вкупе —  
 вы б послушали, тетка толкует о культе,  
 и о чести еще, и о честности, да!  
 Как жалеет она прожитые года!  
 И хоть в пенсию верит, не очень хлопочет:  
 Мол, писать не могу, неразборчивый почерк.  
 Заслужила — дадут, мол. Не те времена...

Да и в те-то не кланялась очень она!  
 На усадьбе у тетки, как джунгли, ботва.  
 Ну, и клевер, конечно. Не просто трава.  
 До чего ж он выск! Стебли словно веревки!  
 И хотя мы на совесть отбили литовки,  
 застревают, как будто в отрепье, они.  
 — Р-раз! — и сдайся назад.  
 — Два! — и вновь потяни.  
 — Вот что можешь, земля, ты! — дивлюсь я, махая. —  
 А еще говорят про тебя, что плохая,  
 что скупая у нас ты... Да это ж брехня!  
 Вижу, тетка с улыбкой глядит на меня:



— И в колхозе сей год клевера-то ди-кушшие! —  
говорит мне она. — А ведь чуть не порушили!  
Приезжал по весне тут один... енерал.  
На Кузьму-бригадира уж так напирал!  
А Кузьма — ни в какую! Дойдет до ответа —  
все одно повторяет: «Согласия нету».  
Ну, а если, мол, он для успеха помеха,  
если ведает тот, как прямее проехать,  
пусть садится и правит... Бригаде нужна  
не красивая сводка — мол, грош ей цена!  
Я смеюсь: веселит меня теткин рассказ.  
Ах, Кузьма! Ну, Кузьма! Даже слезы из глаз!  
И молчал ведь... А сколько, о чем ни попало  
толковали мы с ним вечерами, бывало.  
Сядет рядом, достанет кисет да газетку,  
чуть не с палец сигарку свернет — и начнет:

— Ты бы вот что, писатель, себе на заметку  
взял... Да ты не спеши: ты послушай вперед.  
Ну, вот сев, например. Да, горячее время.  
Ни поспать, ни побриться... Поскольку страда!  
И покудова в землю не брошено семя,  
хоть до пояса пусть отрастет борода —  
пахарь плуга не бросит, земле не изменит...  
Это, знаешь, в крови у него. Испокон!  
Ведь земля ему — высшая власть и спасенье!  
И не зря ее ласково матушкой он  
величает,

как сын, ей покорен до гроба!  
И пустая им тяжба совсем ни к чему:  
он ли служит ей вечно, она ли ему?!  
В узел издревле накрепко связаны оба!  
Трудно, да. Но и радостно это служенье.  
Без упреков, без клятв, без биения в грудь...

А теперь — коли сев, то, конечно, «сраженье»,  
коли жатва, то «битва»...

Послушаешь — жуть!

Шуму, треску! Гляди, телефон разорвется.

И приказ, и указ... И еще щелкопер  
из газеты...

И все призывают «бороться».

С кем бороться — не ведаю я до сих пор.

Да и некогда, знаешь ли: столько работы!

Впрочем, может, не дело совсем говорю...

И смутится, конечно: — Да брось ты... Да что ты! —

Если я его вдруг от души похвалю.

Мол, какой он философ!.. И в шутку добавит:

— Темнота ведь, деревня! —

Ну да — «темнота»!

Темнота, да не та, — не скажи, брат, — с зубами!

И, конечно, такая она неспроста...

Он и сам это знает. Он все понимает!

Он о будущем даже не прочь помечтать.

И мечтает! А чаще считает, считает...

Все в деревне теперь научились считать.

Мы сидим на валке посредине участка.

Шмель летает. И маковки медом сочатся.

Трактор улицей прет, тянет сани большие.

И горой на санях бревен меченых воз.

Кто-то дом перевозит. Видать, на отшибе

под завязочку, как говорят, нажилось.

Слышу:

— Ставить под вашей черемухой ладит...

— Что же, место веселое! — я говорю. —

Дому тут и стоять: в самом центре бригады,

да и окнами, кроме того, на зарю!

И на миг представляю,.. Нет, вижу сквозь время

этот дом и черемуху эту в цвету,

вижу клуб (не церквушку уже) —  
всю деревню,  
но не эту, а будет которая, ту!  
Молодая, теперь уж она недалече,  
все слышней на стропилах ее топоры...  
Нет, не будет она уже личных овечек  
и буренок своих запирать во дворы.  
Подметет она стружку в заулках. И встанет.  
И засветит в распахнутых окнах огни...  
И потянет сюда меня снова, потянет  
за веселыми песнями. Будут они!  
Очень многое будет!

Как в небе, широко  
мы шагнем и в деревне —  
нас время торопит.

И гулять по полям небывалым машинам!  
Так я думаю, с завистью глядя на сына.  
Он заметно в деревне окреп, загорел.  
Он в деревне серьезнее стал. Повзрослел.  
Молча смотрим мы оба, как, тяжек и грозен,  
на заброшенной пашне, упершись плечом,  
выдирает с корнями осины бульдозер  
и замшелые пни — все ему нипочем!  
Он ломает ольху, он крушит краснотал,  
ярость в теле его, в разговоре — металл.  
Он безжалостен, этот железный пророк!  
И упрямая сила его, как зарок,  
что земле молодеть!

Как она широка!

За черту горизонта плывут облака...  
А на клеверном поле, у нас на виду,  
люди, солнышком залиты, ставят скирду.  
И Кузьма среди них.  
Вот он, выпрямься, встал.

Вот он запросто граблями небо достал,  
двинул по боку тучку и шумную ношу,  
подхватив, приподнял и у ног положил.  
И опять распрямился...

Погодой хорошей  
в пору страдную эту Кузьма дорожил.

г. Вологда.

1962—1963 гг.



## СОДЕРЖАНИЕ

«Стихи мои о деревне...» . . . . .	7
«Оглядываюсь с гордостью назад...» , .	9
Живу на земле . . . . .	11
Доска почета . . . . .	13
Летний дождь , , . . . . .	14
Разговор с попутчиком . . . . .	17
На лугу . . . . .	19
Бани топятся , , . . . . .	20
Мать и дочь . . . . .	23
Когда женится друг , . . . . .	26
И моя заслуга! , . . . . .	28
По ягоды , , , . . . . .	30
Перед дорогой . . . . .	32
Деревенское собрание , , . . . . .	35
Председатель, дай ответ! . . . . .	37
Шефы приехали , . . . . .	39
Уполномоченный , . . . . .	43
Конюх Тарас . . . . .	45
Деревенская осень . . . . .	49
Праздник на нашей улице . . . . .	51
«Закурить да бежать» , . . . . .	53
Иван , . . . . .	55
Кирюхино похмелье , . . . . .	58
Черемуха на деревенской улице . . . . .	65
Бабушкины песни , . . . . .	66
Первые уроки , . . . . .	68
Учитель . . . . .	70

Княжица . . . . .	72
Песни в старом доме . . . . .	74
В городе . . . . .	80
Возвращение из деревни . . . . .	82
Баллада о хлебе . . . . .	85
Девчата . . . . .	88
В метель . . . . .	91
После войны . . . . .	100
Пропавшие без вести . . . . .	102
Награды . . . . .	104
А ты бы смог? . . . . .	106
Ледоход . . . . .	103
Баллада о чистильщике сапог . . . . .	110
О тишине . . . . .	114
Песня о друге . . . . .	115
В дороге . . . . .	121
Черемуха . . . . .	123
Как немного сердцу надо . . . . .	125
Что ты рвешь свою гармонь... . . . .	127
«Пойдем со мной. Такое расскажу» . . . .	129
У реки . . . . .	130
Осень в березовой роще . . . . .	132
Новогодние пожелания . . . . .	134
Медведь . . . . .	135
Зимняя рыбалка . . . . .	137
Веселая рука . . . . .	139
Русские сказки . . . . .	140
«Ты — благородный? К черту враки!..» . .	112
«Жара. Перехожу речушку вброд...» . .	144

Раздумья в полете . . . . .	146
России . . . . .	148
На родине . . . . .	149
«В стихах деревенских идиллий...» . . . . .	151
Строка моя . . . . .	153
Выступаем . . . . .	155
Весенний базар . . . . .	157
«Читаю книжицу изящную...» . . . . .	159
«На костореза тонкую работу...» . . . . .	161
Окнами на зарю (поэма) . . . . .	165

---

Сергей Васильевич Викулов  
«ИЗБРАННОЕ»

Редактор *А. А. Романов*  
Худож. редактор *В. С. Вежливцев*  
Техн. редактор *С. И. Соколова*  
Корректор *Е. Л. Спиридонова*

---

ГЕ00211. Подписано к печати 8.4.1967 г. Бумага 70×90<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бум. л. 3. Печ. л. 7,02 Уч.-изд. л. 6,12. Тираж 10000.  
Цена 50 коп. Заказ 604.

---

Областная типография, г. Вологда, ул. Калинина, 3.